

ПУТЬ

ОРГАНЪ РУССКОЙ
РЕЛИГІОЗНОЙ МЫСЛИ.

подъ редакціей Н. А. БЕРДЯЕВА,
при участі Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВА.

Въ предшествующихъ книжкахъ «Пути» были напечатаны статьи слѣдующихъ авторовъ: Н. Н. Алексеева, П. Ф. Андерсона, Н. С. Арсеньевъ, М. Артемьевъ, П. Аршанво (*Франція*), Н. Афанасьевъ, С. С. Безобразова, Е. Беленськъ, Н. А. Бердяевъ, П. Бидилли, Н. Бунова, прот. С. Булгакова, Р. Вальтера, Б. П. Вышеславцевъ, Франка Гавена (*Америка*), М. Георгіевскаго, Н. Н. Глубоковскаго, И. Гофштеттера, В. Гриневичъ, Іеромонаха Льва Жиллэ, Л. А. Зандера, В. А. Зандера, Н. Зернова, В. В. Зѣньковскаго, свящ. А. Ельчанинова, П. К. Иванова, Ю. Ивасека, В. Н. Ильина, А. Карпова, Л. П. Карсавина, А. Карташева, Н. А. Клепинина, С. Кавертца (*Америка*), К. Керна (*Англія*), Л. Козловскаго (†). (*Польша*), Г. Г. Кульмана, Т. Ц. Ку (*Китай*), М. Курдюмова, А. Лазарева, И. Лаговскаго, Ф. Либа (*Базель*), Н. О. Лосскаго, Ж. Маритена (*Франція*), Я. Меньшикова, П. И. Новгородцева (†), прот. Налимова (†), С. Олларда (*Англія*), А. Погодина, Р. Плетнєва, А. М. Ремизова, Д. Ременю, Русскаго Июка (*Россія*), Ю. Сазоновой, графа А. Салтыкова-Н. Сарафанова, Е. Сковцовской, И. Смолича, В. Сперанскаго, Ф. А. Степуна, И. Стратонова, В. Скремана, П. Тиллиха (*Германія*), Н. Тимашева, С. Троицкаго, кн. Г. Н. Трубецкаго (†), Н. Тургеневой, Н. О. Федорова (†), Г. П. Федотова, свящ.) Г. В. Флоровскаго, С. Л. Франка, прот. С. Четверикова, Д. Чижевскаго, В. Эккерсдорфа, Г. Эренберга (*Германія*), свящ. Г. Цебрикова, Л. Шестова, кн. Д. Шаховскаго (*Іеромонаха Іоанна*), аббата Августина Якубизиака (*Франція*).

— Адресъ редакціи и конторы:
10, BD. MONTPARNASSE, PARIS (XV).

Цѣна 36-го номера: долл. 0,60.

Подписная цѣна — въ годъ долл. 2,25 (6 книгъ). Подписка принимается въ конторѣ журнала.

№ 36.

ДЕКАБРЬ 1932

№ 36.

ОГЛАВЛЕНИЕ :

стр.

1. Н. Лосскій. — Магія и христіанскій культъ	3
2. Н. Бердяевъ. — Два пониманія христіанства (къ спорамъ о старомъ и новомъ въ христіанствѣ)	17
3. С. Гессенъ. — Трагедія зла (філософскій образъ Ставрогина)	44
4. А. Карташевъ. — Завѣтъ Св. кн. Владимира	75
5. Іеромонахъ Левъ Жиллэ. — Въ поискахъ первоначального евангельского преданія	81
6. Новые книги: Н. Бердяевъ. — Comte Hermann de Keyserling. <i>Meditations sud-americaines</i> ; Н. Бердяевъ. — Н. А. Сетницкий. О конечномъ идеалѣ; Г. Федотовъ. <i>Irenikon</i>	89

Приложеніе: Б. Вышеславцевъ. — ТРАГИЗМЪ ВОЗВЫШЕННАГО И СПЕКУЛЯЦІЯ НА ПОНИЖЕЖЕНІЕ.

МАГІЯ И ХРИСТИАНСКІЙ КУЛЬТЪ

Историки религії, этнографы и другіе ученые согласно утверждаютъ, что въ жизни примитивныхъ народовъ религія связана съ магією. *Леманнъ* въ своей книжѣ «Aberglaube und Zauberei von den ältesten Zeiten an bis in die Gegenwart» (3 изд., 1925) даетъ много свѣдѣній о магіи не только у первобытныхъ народовъ, но и въ составѣ сравнительно высоко развитыхъ религій, напр. у халдеевъ, грековъ, римлянъ. *Фразеръ* считаетъ вѣроятнымъ, что магія возникла раньше религії; затѣмъ религія на первыхъ ступеняхъ своего развитія сочетается и смѣщивается съ магією, когда человѣкъ увѣренъ, что можетъ покорить себѣ боговъ съ помощью безличныхъ силъ посредствомъ опредѣленныхъ церемоній и манипуляцій; далѣе, на болѣе высокой ступени развитія религія стремится къ умилостивленію боговъ и духовъ, къ примиренію съ ними и начинаетъ сознавать свою противоположность магії; религіозные люди начинаютъ осуждать всякое колдовство, волшебство, какъ нечестивыя дѣянія. Однако среди необразованныхъ классовъ смѣщеніе религії и магії продолжаетъ существовать, говорить онъ, и въ наше время и приводить примѣры потрясающихъ повѣрій, распространенныхъ среди французскихъ

крестьянъ (напр., месса Св. Духу, покоряющая Бога, месса Saint Secaire для наведенія порчи (*))

Эвелина Эндергилль (Underhill) въ своей цѣнной книгѣ «Mysticism» говоритъ, что въ христіанскомъ культѣ есть элементы магії (символическая слова, ритмы, помазанія и т. п.), и относить ихъ къ «внѣшней» церкви, тогда какъ «внутренняя» церковь сосредоточивается на мистическомъ единеніи съ Богомъ (глава «Мистика и магія»). Многіе западно-европейскіе писатели говорятъ о православномъ культѣ, что онъ состоить изъ магическихъ-символическихъ церемоній.

Вопросъ, не входитъ ли магія въ составъ христіанского культа, можно ставить и обсуждать осмысленно не иначе, какъ въ отношеніи къ точно опредѣленному понятію магії, а не расплывчатому представлению о ней. Я въ своей статьѣ буду придавать этому термину слѣдующій смыслъ: магическое воздействиe существуетъ тамъ, где воля одного существа покоряетъ себѣ волю другого существа такъ, что превращаетъ его въ свое орудіе; магически воздействиe ставить цѣли, а покорившійся ему исполняетъ ихъ; сила покоренного существа какъ бы сливаются съ силою покорителя, отдается вполнѣ въ его пользованіе, такъ какъ оформляется и управляется цѣлями и мыслю покорителя.

Такое ученіе о магії я развиваю на основѣ персоналистического міропониманія, согласно которому все существа обладаютъ волею или, на низшихъ ступеняхъ развитія, потенціею воли, а также на основѣ интуитивизма, утверждающаго тѣсную связь всѣхъ существъ другъ съ другомъ, благодаря которой «все имманентно всему», т. е. состоянія одного существа непосредственно, въ

*) I. G. Frazer, the Golden Bough. A. Study in Magic and Religion I т. (3 изд.), 224-233.

подлинникъ созерцаются другими существами и становятся предметомъ симпатіи или антипатіи ихъ.

Воля и даже потенція воли каждого существа свободна (*). Поэтому магически поработить себѣ какое либо существо можно лишь въ томъ случаѣ, если оно само, находясь въ состояніи упадка, отказывается отъ сопротивленія вслѣдствіе страха или подъ вліяніемъ соблазна. Отсюда слѣдуетъ, что магія въ отношеніи къ существамъ, обладающимъ нравственнымъ сознаніемъ, есть злое дѣло: она есть насилие одной воли надъ другою, достигаемое путемъ использованія чужихъ слабостей.

Только въ томъ случаѣ магическое воздѣйствіе не есть зло, когда подчинившееся существо стоитъ на онтологически низшей ступени развитія, именно не обладаетъ нравственнымъ сознаніемъ; временно ставъ орудіемъ болѣе высокаго существа, оно пріобщается къ его болѣе сложной жизни и такимъ образомъ воспитывается имъ. Такъ, иногда на короткое время всадникъ и лошадь какъ бы превращаются въ одно существо (**); лошадь становится какъ бы частью тѣла своего хозяина. Еще болѣе явственно существуетъ такое отношеніе между человѣческимъ я и органами его тѣла. «Самая непосредственная магія», говоритъ Гегель, «это та, которую индивидуальный духъ проявляетъ въ отношеніи собственного своего тѣла, превращая его въ подчиненнаго, покорного исполнителя своей воли (***)». Такое магическое подчиненіе, обыкновенно, не есть насилие; оно обусловлено огромнымъ онтологическимъ превосходствомъ одного существа надъ другимъ, въ силу чего низшее существо

*) См. мою книгу «Свобода воли», YMCA. 1927.

**) См. W. Lutoslawski, Niesmiertelnoe duszy, 1925.

***) См. Hegel, Encyklopädie, III. Th., § 405; см. также о магіи въ моей книжѣ «Основы ученія психологіи съ точки зрѣнія волонтаризма», гл. V, 2.

чрезвычайно выигрываетъ, вступая въ потокъ жизни высшаго.

Въ отношеніи къ Богу и членамъ Царства Божія насилие магического воздѣйствія, очевидно, никоимъ образомъ неосуществимо, но возможны нелѣпыя попытки практиковать магію и въ этомъ направленіи: Всякій такой замыселъ есть дѣло су-губо злое и кощунственное.

Многіе философы и ученые, исходя изъ основъ своего міровоззрѣнія, скажутъ, что магія въ смыслѣ даннаго выше опредѣленія невозможна. Однако и они должны признать, что существуютъ люди, допускающіе возможность такой магіи и пытающіеся практиковать ее, и что всякая попытка такого магического воздѣйствія, всякий замыселъ такой магіи есть дѣло злое. Поэтому моя статья сохраняетъ смыслъ и для лицъ, отрицающихъ возможность магіи.

Леманнъ и Фразеръ даютъ иное опредѣленіе магіи, чѣмъ я. Но оба они, говоря о магіи въ религії, вносятъ въ составъ этого понятія замыселъ покорить волю боговъ. Поэтому, по крайней мѣрѣ въ этомъ важнѣйшемъ для моей темы пунктѣ статья моя сохраняетъ значеніе и для послѣдователей Леманна и Фразера.

Возможно-ли, чтобы въ содержаніе самой возвышенной религії, въ составъ христіанскаго культа въ томъ видѣ, какъ онъ выработанъ православною и католическою церковью или протестантизмомъ, входила магія? Многія дѣйствія культа, многія церемоніи имѣютъ цѣлью создать условія, при которыхъ воля Божія проявилась бы иначе, чѣмъ если бы ихъ не было. Одного этого признака однако не достаточно, чтобы видѣть въ такихъ формахъ культа попытки магического воздѣйствія на Бога. Леманнъ говорить: «къ числу магическихъ принадлежать тѣ дѣйствія, посредствомъ которыхъ можно, какъ предполагаетъ человѣкъ,

осуществить принудительную силу надъ богами, тогда какъ дѣйствія, посредствомъ которыхъ надѣются только повліять на настроеніе боговъ, слѣдуетъ рассматривать, какъ подлинно культового» (стр. 12). Фразеръ особенно обращаетъ внимание на то, что высоко развитыя религіи не сливаются съ магіею, а, наоборотъ, вступаютъ во враждебное отношеніе къ ней, считая нечестивымъ всякой замыселъ магического воздействиа на боговъ или Бога.

Въ особенности въ отношеніи къ христіанству стоитъ только на минуту задуматься надъ тѣмъ, допустимо ли въ немъ магическое воздействиа на Бога, чтобы тотчасъ же и съ абсолютной рѣшимостью отвѣтить рѣзко отрицательно. Во-первыхъ, христіанинъ признаетъ всемогущество Божіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и невозможность какихъ бы то ни было принудительныхъ воздействиа на Него, а также на ангеловъ и святыхъ, которые, принадлежа къ Царству Божію, живутъ сполна усвоеніемъ Его воли и силы. Но этого мало, гораздо важнѣе то, что Богъ есть само Добро, «сокровище благихъ», вершина всѣхъ положительныхъ цѣнностей; поэтому Онъ есть предметъ любви и источникъ радости для всѣхъ вѣрующихъ въ Него христіанъ. Единственное правильное отношеніе къ Богу, воспитываемое Церковью, всею христіанской литературою, особенно Отцами Церкви, и всею практикою святыхъ и мистиковъ есть любовь къ Богу, совершенная преданность Ему, стремленіе превратить свою волю въ орудіе веленій Его.

Церковь есть Тѣло Христово, и подлинный христіанинъ стремится быть органомъ этого Тѣла, послушнымъ своему Господину гораздо болѣе совершенно и беспрекословно, чѣмъ мышцы нашего тѣла слушаются нашей воли. Соответственно этому центральный моментъ культа для каждого вѣрующаго есть пріобщеніе св. Таинъ и для всей

Церкви преложеніе хлѣба и вина въ Тѣло и Кровь Христову во время литургіи. Согласно учению православной Церкви, это преложеніе совершается во время молитвы священника, называемой эпиклезисъ. И по содержанію своему, и по соотвѣтствующимъ ему движеніямъ души священника эта молитва прямо противоположна всякому магическому заклинанію: въ ней нѣть и тѣни повелительного сосредоточенія воли священника на хлѣбѣ и винѣ или, что было бы еще страшнѣе, на Божественномъ мірѣ; священникъ только благоговѣйно «просить и молить» Бога о ниспосланіи Духа Святаго на дары и преложеніи ихъ Духомъ Святымъ.

Православная Церковь не ломаетъ голову надъ вопросомъ о томъ, какимъ образомъ хлѣбъ и вино, не измѣнившись химически, становится Тѣломъ и Кровью Христа. Для человѣческаго ума это, безъ сомнѣнія, непостижимо, и воля священника здѣсь не при чемъ, но для Господа это, безъ сомнѣнія, есть не какая то сложная операция, а нѣчто абсолютно простое. Ва самомъ дѣлѣ, Хомяковъ остроумно замѣчаетъ, что Господь есть Господинъ стихій и вещества, не измѣнивъ своей физической субстанції, можетъ стать Его Тѣломъ. По существу эту именно мысль развиваетъ обстоятельно от. С. Булгаковъ въ своей статьѣ «Евхаристической догматъ» (*).

Также и пріобщающійся св. Таинъ переживаетъ настроеніе, не имѣющее ничего общаго съ дѣятельностью мага: никакихъ напряженій воли, направленныхъ виѣ себѣ у него нѣть, есть только любовь ко Христу, преданіе себѣ въ Его руки и твердая воля хранить свое сердце въ чистотѣ, чтобы удостоиться общенія съ Богомъ.

*) А.С.Хомяковъ. Нѣсколько словъ православнаго христіанина о западныхъ вѣроисповѣданіяхъ. По поводу одного окружного посланія Парижскаго архіепископа 1855. Собр. соч. II т., стр. 131. От. С. Булгаковъ, журн. «Путь», 1930.

Всѣ осталъныя таинства совершаются съ тѣми-же настроеніями, какъ и таинство Евхаристіи. Въ православной Церкви даже словесныя формулы ихъ (за исключеніемъ таинства покаянія) не даютъ основаній священнику выдвигать свое я и свою волю: священникъ говорить «крещается рабъ Божій», «вѣнчается».

Въ католической литературѣ встрѣчаются иногда мнѣнія, преувеличивающія значеніе силы священника при исполненіи таинства. Такъ, Гейлеръ приводить слѣдующую цитату изъ одной іезуитской книги: священникъ имѣеть власть «надъ неживою тварью и даже надъ самимъ Творцомъ, и притомъ тогда, когда захочетъ. Одно слово изъ его устъ принуждаетъ Творца вселенной и неба сойти на землю, снимаетъ съ Него Его величіе и скрываетъ Его подъ видомъ хлѣба» (*). Никто, конечно, не станетъ утверждать, будто это грубо магическое пониманіе таинства, есть догматическое ученіе католической церкви. Такія частныя мнѣнія отдѣльныхъ лицъ слѣдуетъ отмѣтить для того, чтобы содѣйствовать очищенію сознанія ихъ отъ случайно зарождающихся въ немъ кощунственныхъ представлений.

Молебны о здравії, за упокой, о ниспосланіи дождя и т. п., церковныя церемоніи, вродѣ водосвятія, всѣ совершаются такъ, что ни священникъ, ни молящіе не напрягаютъ своей воли во вѣѣ, чтобы покорить себѣ природу или Божественные силы: воля молящихся направляется внутрь, на себя, чтобы очистить себя отъ грѣха и всякаго порока и такимъ образомъ стать достойнымъ милости Божіей, а къ Богу вѣрующей обращается только со смиренною мольбою объ исполненіи

*) F. Heiler. Der Katholizismus, seine Idee und seine Erscheinung. Mюnchen, Verlag von E. Reinhardt, 1923, стр. 226; цитаты изъ книги Karl Haggeneck, S. I. Im. Heerann des Priesterkönigs. Der wahre Melchisedech Freib. 1916, Bd. II, s. 35.

просимаго и совершенною преданностью волѣ Его, напередъ признавая, что просьба наша, можетъ быть, неразумна и не заслуживаетъ исполненія.

Стоить только вспомнить яркое, художественное воплощеніе поведенія мага, напр. игру Шалляпина въ оперѣ «Фаусть», чтобы живо отдать себѣ отчетъ въ томъ, до какой степени поведеніе участниковъ христіанскаго культа противоположно магіи, колдовству, волшебству и т. п. Когда Шалляпинъ, изображая Мефистофеля, заклинаетъ розы, такъ что они вянуть въ моментъ прикосновенія къ нимъ Зибеля, зрителъ какъ бы чувственно воспринимаетъ излучающуюся изъ пальцевъ его напряженной руки силу, направленную на розы. На обложкахъ американскихъ книгъ, обѣщающихъ научить успѣху въ жизни, бываетъ помѣщено изображеніе лица съ сосредоточеннымъ взоромъ и волевымъ напряженіемъ, излучающимъ силу, способную покорить себѣ всѣ вѣнчанія препятствія. Не краткое сіяніе лика Спасителя, а образъ хищника служить путеводною звѣздою тѣхъ, кто обращается къ такимъ книгамъ. Христіанину претитъ этотъ путь вѣнчанаго успѣха.

Только въ случаѣ борьбы съ духомъ зла (экзорцисы) необходимо въ культовыхъ дѣйствіяхъ напряженіе воли, направленное во вѣнчаній міръ, но и оно лишь вѣнчанімъ образомъ напоминаетъ магію. Молитва «да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его», сопутствующая крестнымъ знаменіемъ, произносится съ намѣреніемъ отогнать злую силу. Обыкновенный смертный стремится при этомъ лишь удалить злого духа, а вовсе не покорить его себѣ и использовать его силу для достиженія какихъ либо цѣлей.

Все сказанное до сихъ поръ можетъ быть понято, какъ подтвержденіе мысли, что католический и православный культи состоятъ изъ магическихъ церемоній: стремленіе участниковъ таинства от-

дать свою волю въ руки Божії и сдѣлать себя орудіемъ исполненія Его веленій, можно истолковать, какъ отказъ субъекта отъ нечестиваго притязанія магически покорить себѣ Бога, но въ то же время какъ желаніе его стать *объектомъ* магическихъ воздействиій на него Бога. Въ протестантской энциклопедіи «Die Religion in Geschichte und Gegenwart» въ статьѣ «Католицизмъ» сказано, что католическая таинства становятся магическими, такъ какъ предполагается, что благодать дѣйствуетъ ехъ *operato* (въ силу простого факта совершенія таинства независимо отъ личности священника, т. е. на ехъ *operato operantis*), лишь бы человѣкъ не противодѣйствовалъ ей. Иными словами, католику и православному приписывается здѣсь такое пониманіе таинства, напр. Евхаристіи: положимъ, зная за собою грѣховное направленіе воли, напр. честолюбивую завистливость или сексуальную похотливость, человѣкъ приступаетъ послѣ исповѣди и покаянія, къ принятію св. Таинъ; онъ переживаетъ при этомъ только то слабое желаніе избавиться отъ своихъ пороковъ, которое естественно возникаетъ при обстановкѣ, возвышающей душу, но разлетается, какъ дымъ, при малѣйшемъ испытаніи, т. е. при столкновеніи съ соблазномъ; тѣмъ не менѣе онъ надѣется, что благодать таинства выжжетъ въ немъ порочную волю и преобразить его. Возможно, что есть лица, приписывающіе таинству такую магическую силу и надѣющіеся на возможность такого легкаго пути совершенствованія, не требующаго тяжелой, иногда героической борьбы съ собою и мощныхъ усилий самопредолѣнія въ минуты соблазна. Ясно однако, что Церковь не такъ понимаетъ значеніе таинствъ и не допускаетъ, чтобы Богъ магически распоряжался волею человѣка, а также не утверждаетъ нелѣпой противорѣчивой мысли, будто Богъ чудесно претворяетъ порочное я и превращаетъ его въ до-

бродѣтельное. Мысль эта нелѣпа потому, что быть добрымъ въ нравственномъ смыслѣ можетъ только такое существо, которое предпочитаетъ добрый поступокъ дурному свободно, по собственному выбору, т. е. не вынуждаемое ни внѣшней причиной, ни собственнымъ характеромъ въ его *данной* отъ Бога, *созданной* Богомъ сущности. Быть или вѣрѣТЬ стать добродѣтельнымъ можетъ лишь существо, надѣленное при твореніи его Богомъ творчески активною сверхкачественною свободною силою и самостоятельно вырабатывающее свои качества, т. е. свой добрый или порочный характеръ. Если бы можно было сотворить существо съ такою душевною природою, что оно навѣрное было бы добродѣтельнымъ, то это означало бы, что возможенъ автоматъ добродѣтели; такъ какъ это нелѣпо противорѣчивое понятіе, то твореніе такого существа невозможно даже и для Божественного всемогущества. Въ противномъ случаѣ Богъ сотворилъ бы міръ, который состоялъ бы изъ совершенно добродѣтельныхъ существъ, міръ, въ которомъ не было бы зла.

И православные и католики утверждаютъ свободу воли человѣка. Особенно въ современной православной философіи подчеркивается мысль, что Богъ сотворилъ человѣка, какъ существо, надѣленное способностью къ свободной творческой дѣятельности, что Богу человѣкъ нуженъ не какъ рабъ, а какъ другъ, съ любовью свободно обращающійся къ Нему, входящій «въ живой совѣтъ» съ Нимъ (Вл. Соловьевъ) и свободно продолжающій творческую дѣятельность Его. Христіанство въ этой философіи обрисовывается, какъ религія любви и, следовательно, какъ религія свободы (*).

*) См. напр., труды Вл. Соловьева, книги кн. Е. Н. Трубецкого «Мировоззрѣніе Вл. Соловьева» и «Смыслъ жизни», П. Флоренскаго «Столпъ и утвержденіе истины», от. С. Булгакова «Свѣтъ невечерній», Бердяева «Философія свободного духа» и «Назначеніе

Магическое покорение воли одного существа другимъ всегда есть насилие, такъ какъ оно постигается путемъ использования рабского страха или другихъ порочныхъ слабостей существа. Прямо противоположный характеръ имѣть мистическое единение души съ Богомъ: оно основано на безкорыстной любви къ Богу, какъ самому Добру, Истинѣ и Красотѣ, оно сопутствуетъ сознаніемъ того, что Богъ, какъ сказалъ св. Иоаннъ Бонавентура, есть Свѣтъ, «болѣе близкій къ душѣ, чѣмъ она сама къ себѣ»; свободная отдача своей воли Творцу есть для твари не утрата себя, а, наоборотъ, впервые полная реализація своей идеи въ блескѣ и славѣ ея, индивидуальное, т. е. незамѣнимое и неповторимое осуществленіе подобія Божія въ тварномъ мірѣ. Для достижени¤ этой цѣли великие святые, какъ Францискъ Ассизскій, Сузо, св. Тереза, Иоаннъ Креста, Сергій Радонежскій, Серафимъ Саровскій и др. совершили многолѣтніе героические подвиги борьбы своей воли, чувства и ума противъ малѣйшей тѣни порока въ себѣ (утонченное изображеніе трудностей этой борьбы съ собою см. въ замѣчательной книжѣ «Невидимая брань»), прибѣгая въ то-же время постоянно къ благодатной помощи таинства Евхаристії. Всякій православный и католикъ, живущій религіозными интересами, а не числящійся только номинально въ спискахъ своего прихода, знаетъ, что если для великихъ святыхъ путь восхожденія къ Богу, несмотря на помощь таинства, безконечно труденъ, то тѣмъ болѣе онъ труденъ для рядового христіанина. Думать, будто таинства суть, по учению Церкви и живыхъ членовъ ея, легкій, виѣшній путь для достижени¤ совершенства, можетъ только тотъ, кто

человѣка», Франка «Духовные основы общества», Вышеславцева «Этика преображеного Эроса», Лосского «Свобода воли» и «Цѣнность и бытие. Богъ и Царство Божіе какъ основа цѣнностей».

стоить далеко отъ религіозного опыта православія и католичества.

Въ чём же заключается благодатное и чудесное дѣйствие таинства Евхаристіи, если, кромъ него, необходима героическая борьба воли върюющаго съ своими грѣховными склонностями? Не достаточно ли одной этой внутренней работы человѣка надъ усовершенствованіемъ себя? — Нѣть, не достаточно. — Совершенство конечнаго существа достигается путемъ спайки его съ безконечною полнотою жизни и абсолютнымъ совершенствомъ Господа Бога; оно состоить не въ пассивной отдачѣ своей силы Богу, а въ творческомъ дѣятельномъ соучастіи въ Божественной жизни. Это возможно лишь постольку, поскольку со стороны человѣка происходит очищеніе сердца отъ всего, что недостойно встрѣчи съ Богомъ, а со стороны Бога *откровеніе* Себя человѣку, все полнѣе и полнѣе намѣчающее конечную цѣль его дѣятельности; эта постепенная спайка силы человѣка съ Божественнымъ Логосомъ осуществляется во время поворотныхъ, важныхъ моментовъ жизни человѣка и творить изъ него шагъ за шагомъ новое преображенное существо безъ насилия надъ его свободою, безъ причиннаго воздействиія Бога на человѣка извнѣ: Тотъ, Кто «трости надломленной не переломить и льна курящагося не угасить» (Ис., 42, 3), не умаляетъ свободы твари, содѣйствуя своимъ присутствіемъ возвышенню ея. Религіозный опытъ христіанина говорить ему, что пріобщаясь Тѣла и Крови Христовой, какъ членъ Церкви, которая сама есть тоже Тѣло Христа, и переживая при этомъ особенный, ни съ чѣмъ не сравнимый подъемъ духа, онъ дѣйствительно удостаивается того мистического единенія съ Богомъ, которое содѣйствуетъ преображенію души. При такомъ пониманії таинства, какъ преображенія человѣка безъ нарушенія его свободы, отпадаютъ основанія ут-

верждать, будто христіанство, будучи религією искупленія, вступает въ непримиримый конфліктъ съ нравственностью, какъ это говорить Н. Гартманъ въ своей «Этикѣ». Даже таинство крещенія, совершающее надъ непонимающимъ его младенцемъ, можетъ быть рассматриваемо, какъ присутствие просвѣщающей душу благодати, которая затѣмъ постепенно свободно усваивается или отвергается новымъ членомъ Церкви по мѣрѣ развитія его души.

Конечно, таинственное преображеніе души можетъ происходить и помимо церковныхъ таинствъ. Но Церковь, пользуясь многовѣковымъ опытомъ соборного разума, близкаго душѣ каждого вѣрующаго, выработала въ таинствахъ особенно могущественные средства возвышенія души и потому отвергнуть таинства въ надеждѣ достигнуть цѣли какими либо другими способами есть, по меньшей мѣрѣ, чрезмѣрная самонадѣянность.

Во избѣжаніе недоразумѣній слѣдуетъ замѣтить, что невмѣшательство Бога силою даже и въ дѣйствія злыхъ людей, вовсе не даетъ намъ, людямъ, права подражать Богу и проповѣдывать непротивленіе злу силою. Сoverшивъ грѣхъ отпаденія отъ Бога и находясь поэтому въ Царствія Божія, мы далеки отъ той красоты и полноты совершенства, которая однимъ своимъ присутствіемъ потрясаетъ душу даже и злого существа и лишаетъ его спокойствія, когда оно вступаетъ на путь зла. Драма нашей нравственной жизни, приниженней грѣхомъ, состоить въ томъ, что мы обязаны бороться со зломъ даже и тогда, когда единственное средство, имѣющееся у насъ обуздать зло, есть сила. Мы сами обрекли себя на жизнь въ такомъ царствѣ бытія, гдѣ даже реализація абсолютныхъ цѣнностей не имѣеть характера чистаго добра (*).

*) См. обѣ этомъ драматизмъ мою книгу «Цѣнность и бытіе. Богъ и Царство Божіе какъ основа цѣнностей», гл. III, 7. О томъ,

Богъ есть Любовь, но есть у Него и другой ликъ — страшный «Огнь поядающій». Какъ это возможно? какъ согласить это со всѣмъ сказаннымъ выше? Очень просто: Богъ не участвуетъ въ злѣ и этого достаточно, чтобы зло было обречено въ конечномъ итогѣ на гибель. Богооставленность злого существа, которое само отвернулось отъ Бога и Его Добра, ведетъ его къ неизбѣжному распаду, къ предѣлу ничтожества и крайнему страданію, съѣдающему жизнь.

H. Лоссий.

какъ мало добра въ земномъ добрѣ, см. подробно въ книгѣ Бердяева «Назначеніе человѣка». О противленіи злу силою см. В. Соловьева «Три разговора», книгу И. А. Ильина, статью Б. Вышеславцева «Трагическая теодицея», «Путь», январь, 1928 г., № 9.

ДВА ПОНІМАНІЯ ХРИСТИАНСТВА

(Къ спорамъ о старомъ и новомъ въ христіанствѣ).

I.

Два пониманія христіанства, которые условно можно назвать консервативнымъ и творческимъ, различаются между собой прежде всего тѣмъ, что одно признаетъ религіозный субъектъ неизмѣннымъ, другое же признаетъ его измѣняющимся, для одного религіозный субъектъ пассивенъ, для другого же онъ активенъ (*). Съ этимъ связана основная проблема философіи религії. Ссылка консерваторовъ на абсолютность и неизмѣнность откровенія, т. е. того, что исходитъ отъ религіознаго объекта, неубѣдительна потому, что откровеніе двучленно и предполагаетъ не только религіозный объектъ, который открывается, но и религіозный субъектъ, которому открывается. Откровеніе есть также событие внутри человѣка, духовный опытъ. И вотъ религіозный субъектъ можетъ имѣть разный опытъ, разный объемъ соз-

*) Выраженія «религіозный субъектъ» и «религіозный объектъ» я употребляю въ относительномъ и условномъ смыслѣ. На болѣйшей глубинѣ Богъ не есть объектъ и не принадлежитъ къ объективированному міру.

нанія, разную зависимость отъ времени, отъ социальныхъ вліяній, отъ колективныхъ представлений, разную очищенность и одухотворенность. Откровеніе не можетъ автоматически и механически дѣйствовать на человѣка, независимо отъ того, каковъ онъ. Откровеніе измѣняетъ человѣка, но оно и измѣняется человѣкомъ. Человѣкъ активенъ въ воспріятіи откровенія. Христіанство исключительно консервативное, сознающее себя единственно ортодоксальнымъ, принуждено отрицать измѣняемость и активность религіознаго субъекта, ограниченность и часто замутненность откровенія субъектомъ его воспринимающимъ. Религіозный субъектъ со средне-нормальной структурой своего сознанія признается неизмѣннымъ. Особенно настаиваетъ на этомъ томизмъ со своей философіей здраваго смысла. Ученіе о неизмѣняемости религіознаго субъекта, о существованіи вѣчнаго естественного порядка взято тутъ у Аристотеля. То, что называютъ неопределеннymъ и двусмысленнымъ словомъ «модернизмъ», есть ничто иное, какъ признаніе измѣняемости религіознаго субъекта. При этомъ измѣняемость эту совсѣмъ не нужно непремѣнно понимать, какъ эволюцію. Но этимъ раскрывается путь для исторической критики, для соціологического или психоаналитического объясненія многаго, чему раньше придавалось абсолютное религіозное значеніе. Существованіе идеальной «ортодоксії», вполнѣ объективной и независимой отъ субъекта, есть иллюзія, — она основана на вѣрѣ въ неизмѣнность человѣческой природы, воспринимающей откровеніе, на вѣрѣ въ то, что религія, основанная на откровеніи, не бываетъ искажаема и ущемляема вліяніями и воздействиими, исходящими не отъ религіознаго объекта, не отъ Бога, а отъ общества, отъ соціальной обыденности. Въ дѣйствительности религіозный субъектъ нуждается въ постоянномъ очищеніи, не лич-

нымъ только, но и соціальному, въ углубленії, одухотворенії, освобожденії отъ соціальнихъ внушеній, искажающихъ и ограничивающихъ откровеніе, отъ подсознательныхъ влечений сексуальныхъ и особенно влечений къ власти. Консервативная ортодоксія совсѣль не отдаеть себѣ отчета въ соціологически выясненной роли колективныхъ представлений въ религіозной жизни. Когда я читалъ послѣднюю книгу Бергсона «Les deux sources de la morale et de la religion», то былъ пораженъ сходствомъ того, что онъ говоритъ о двухъ источникахъ морали и религіи съ тѣмъ, что я говорилъ въ своей книжкѣ «О назначеніи человѣка». И это не смотря на коренное различіе нашихъ міросозерцаній. Безспорно религія имѣеть два источника — соціальный или, какъ я говорилъ въ своей книжкѣ, соціальную обыденность и откровеніе, оригинальную интуицію, въ которой происходитъ прикосновеніе къ тайнѣ бытія. Въ религіозной жизни человѣческихъ обществъ отражается соціологическая зависимость религіознаго субъекта. Въ религіозномъ сознаніи отпечатлѣваются соціальные отношения людей, отношения господства и подчиненія, инстинкты тиранства, по немъ можно изучать пережитую религіозныемъ субъектомъ зависимость, рабство, страхъ, аффектъ мести, играющій такую роль съ первобытныхъ временъ. Тутъ есть частичная правда у Маркса, у Дюркгейма, у Леви-Брюля и соціологической школы, а также у Фрейда и Юнга и школы психоаналитической. Соціология права, указывая на соціальную зависимость и соціальную обусловленность религіозныхъ вѣрованій и учрежденій. Признаніе этой истины можетъ имѣть очищающее и освобождающее для христіанства значеніе. Такъ освобождается сознаніе отъ абсолютизации относительного, отъ искаженія религіознаго объекта религіозныемъ субъектомъ. Такое освобождающее и очищающее значение для христіанства

имѣть и историческая критика, критика Библії. Но соціологи и историки обыкновенно не видять и не хотят знать другихъ источниковъ вѣры и религіозной жизни, не видять самаго главнаго. Безчеловѣчность религіознаго субъекта, съ его древними подсознательными инстинктами, т. е. нераскрытость въ немъ болѣе частой стихіи человѣчности, замутненность соціальнымъ рабствомъ, аффектомъ страха и мести, отражается въ безчеловѣчномъ пониманіи религіознаго объекта, въ низменномъ антропоморфизмѣ понятій о Богѣ. Такъ только и можно понять смыслъ многихъ соблазнительныхъ и оскорбительныхъ представлений о Богѣ въ Библіи. Непониманіе этого породило ложное ученіе Маркіона и гностиковъ, за которыми скрыто было справедливое негодованіе. Очеловѣченіе же религіознаго субъекта ведеть и къ очеловѣченію религіознаго объекта. Это основной религіозный процессъ въ мірѣ. Религіозный смыслъ этого процесса не въ томъ, конечно, что Богъ дѣлается болѣе человѣчнымъ и одухотвореннымъ вслѣдствіи того, что человѣкъ сталъ болѣе человѣчнымъ и одухотвореннымъ, а въ томъ, что незримое дѣйствіе Бога на человѣка дѣлаетъ его болѣе человѣчнымъ и одухотвореннымъ и это дѣлаетъ возможнымъ и и иное понятіе о Богѣ, менѣе зависящее отъ дурныхъ, примордіальныхъ аффектовъ и эмоцій падшаго человѣка, отъ рабскихъ соціальныхъ отношеній, въ которыхъ погружена человѣческая жизнь.

Консервативная ортодоксія отрицаєтъ эту зависимость религіозной жизни отъ соціальной обиденности, отъ земныхъ соціальныхъ отношений господства и подчиненія, отъ колективнаго подсознательного, отъ родовыхъ инстинктовъ. Ей представляется священнымъ то, что имѣетъ чисто соціальное, а не религіозное происхожденіе, корениится въ колективномъ безсознательномъ. Она готова видѣть теофанію тамъ, где въ дѣйствитель-

ности действуют инстинкты властолюбия и экономические интересы. Церковь есть не только мистическое тело Христово, церковь есть также социальный институт, она принуждена жить и действовать в социальной обыденности. И в этой своей социальной стороне церковь подвергается коллективным социальным воздействиям, приспособляется к социальной среде. Религиозный субъект, живущий в церкви, есть также социальный человек, руководимый классовыми, национальными и пр. инстинктами и интересами. Поэтому религиозный субъект, как человек социальный, действует церковь орудием своих вожделений, своего сословия, класса, нации, расы. Церковь была постоянно примешана к политической и национальной борьбе. Религиозный субъект может быть объять обскурантизмом, может находиться на очень низком уровне просвещения сознания. Личная аскеза, личное духовное очищение не помогает, когда речь идет о социальном и интеллектуальном обскурантизме, о коллективном подсознательном. Еп. Феофан Затворник был аскетом, стремился к святыни, шел личным путем духовного очищения, но это не помогало ему быть обскурантом в социальной морали, принадлежать к очень невысокому типу интеллектуальной культуры. Совершенно невозможно понять соблазнительность и мучительность церковной истории, если не дать себе ясного отчета в том, что церковь, как институт и как быть, есть социологический феномен и несет по себе печать ограниченности и относительности всех социологических феноменов. Дух прорывается в социологическую эмпирию церкви, но всегда бывает ущемлен и уменьшен. Но гораздо важнее еще социологическое давление на самое догматическое сознание. Социальная символика в религиозной жизни и религиозной мысли совершенно явственна

и въ ней сильнѣе отражается соціальная дѣйствительность, чѣмъ дѣйствительность духовная. Самые понятія о Богѣ, объ отношеніи Бога и человѣка, объ искупленіи несутъ по себѣ печать родовой соціальной жизни, родовыхъ соціальныхъ отношеній, вплоть до родовыхъ понятій о мести, отразившихся на ученіи объ искупленіи. Также полны религіозное мышленіе и религіозная жизнь секуальной символики. Воинствующій атеизмъ въ своей антирелигіозной пропагандѣ чрезвычайно использовалъ эти стороны религіозного мышленія. И всякая попытка консервативной религіозной ортодоксіи отразить эту соціальную обусловленность и соціальную относительность всякой исторической религії укрѣпляетъ позицію антирелигіозную и атеистическую. Пророческая сторона религії освобождается отъ этой соціологической обусловленности и зависимости и въ этомъ вѣчное очистительное значеніе пророчества. Пророчество возстаетъ противъ власти соціального коллектива, выражаящагося по преимуществу въ жречествѣ и сакраментализмѣ, во имя духа. Смыслъ пророчества въ томъ, что оно означаетъ разрывъ родовой сращенности и скрѣпленности откровенія и прорыва изъ міра духовнаго съ соціологическими вліяніями и соціологической зависимостью религіознаго субъекта. Пророкъ есть человѣкъ одержимый духомъ, а не внущеніями соціальной среды. Пророкъ возвышается надъ коллективными представлениями. Потому только онъ и можетъ призывать къ соціальной правдѣ. Тутъ основной конфликтъ религіозной жизни человѣчества. Оригинальная религіозная совѣсть, оригинальная интуиція, оригинальный духовный опытъ есть прорывъ къ первоисточнику, есть стояніе передъ Богомъ, передъ тайной бытія безъ соціального опосредствованія. Подъ оригинальностью тутъ нужно понимать не то, что не походитъ ни на что у другихъ, а то,

что близко къ первоисточнику, къ изначальному происхождению, что примордально (*). Невозможно отрицать, что религиозная жизнь огромной массы человѣчества въ значительной степени опредѣляется соціальными внушеніями, наслѣдственностью, воспитаніемъ, привычкой, национальными, сословно-классовыми и семейными впечатлѣніями, т. е. коренятся въ колективномъ безсознательномъ. Человѣкъ бываетъ магометаниномъ или буддистомъ, православнымъ или католикомъ, лютераниномъ или кальвинистомъ въ зависимости отъ того, въ какой странѣ, национальности или семье онъ родился. Это нисколько не рѣшаетъ и даже не ставить вопроса объ истинѣ вѣроисповѣданія, но это обнаруживаетъ соціологическую зависимость религиозного субъекта. Его вѣра слишкомъ часто объясняется соціологической зависимостью, она не оказывается чистымъ состояніемъ религиозного субъекта передъ религиознымъ объектомъ. Так же зависитъ онъ отъ времени, отъ эпохи.

Откровеніе религиозного объекта религиозный субъектъ постигаетъ и выражаетъ лишь символическимъ языкомъ и символику онъ беретъ изъ этого міра, обычно изъ родовой соціальной жизни. Въ христіанствѣ есть два преобладающихъ типа символики — символика юридическая, уже прямо взятая изъ соціальныхъ отношеній, и символика біологическая, взятая изъ жизни растительной. Когда мыслить отношенія между Богомъ и человѣкомъ, какъ господство и подчиненіе, какъ запреть и нарушение запрета, какъ наказаніе и прощеніе, какъ выкупъ за совершенное преступленіе и пр., то прибѣгаютъ къ юридической символикѣ. Къ юридической символикѣ прибѣгаютъ, когда мыслить жизнь церкви, какъ учрежденіе, регулируемое закономъ, когда уподобляютъ ее монархиче-

* См. мою книгу «О назначеніи человѣка».

ской государственности и іерархію уподобляють государственнымъ чинамъ. Когда же мыслять Бога, какъ источникъ жизни, подателя жизни въ преизбыткѣ, когда говорять о новомъ рождениі, о ветхомъ и новомъ Адамѣ, когда жизнь во Христѣ уподобляется виноградной лозѣ, когда церковь именуется мистическимъ тѣломъ Христовымъ и сравнивается съ ростомъ дерева, то прибѣгаютъ къ біологической символикѣ. Болѣе глубока, болѣе первична, конечно, біологическая символика, а не юридическая символика, взятая изъ наиболѣе грѣховной стороны человѣческаго существованія. У Ап. Павла можно найти и біологическую и юридическую символику. И юридическій языкъ Ап. Павла далъ поводъ къ построению юридической теоріи искупленія. Въ самомъ Евангеліи безспорно преобладаетъ біологическая символика, символика жизни, нового рожденія, съмени, закваски, виноградной лозы ит. п., хотя можно найти и языкъ отражающей соціальныя отношенія людей. Символическій языкъ евангелій, къ которому прибѣгаеть самъ Христосъ, означаетъ очеловѣченіе откровенія, нисхожденіе его до человѣческаго уровня. Откровеніе есть всегда и прикровеніе, прикровеніе откровенія человѣческимъ языккомъ. Очеловѣченіе божественнаго Слова имѣть не только искажающее, ограничивающее, умаляющее значеніе, но и положительное значеніе, ибо Богъ сталъ человѣкомъ. Боговчеловѣченіе и есть тайна христіанства. И боговчеловѣченіе означаетъ вхожденіе божественнаго Слова въ человѣческую соціальную среду. Универсалность христіанства связана съ тѣмъ, что въ Евангеліи религіозный субъектъ, поставленный передъ откровеніемъ религіознаго объекти, взять, какъ самая элементарная и простая, средняя человѣческая природа. Простыми и средними людьми были апостолы, не людьми высшей и утонченной культуры, а обыкновенными рыбака-

ми. Самъ Сынъ Божій въ своей человѣческой природѣ былъ простымъ работникомъ, плотникомъ. Петръ, признавшій въ Христѣ Сына Божіяго, былъ самый средній человѣкъ со всѣми человѣческими слабостями и недостатками. Именно средняя, обыкновенная, простая человѣческая природа должна была услыхать божественное Слово, увидѣть откровеніе божественнаго свѣта. Такая соціальная элементаризація религіознаго субъекта имѣла огромное и всеобщее значеніе, она означаетъ, что путь спасенія раскрывается для всѣхъ людей, а не для посвященныхъ только, что преодолѣвается аристократизмъ античныхъ мистерій. Такимъ путемъ соціальныя и цивилизаторскія внущенія въ зарожденіи христіанства доведены до минимума. Символической языкъ въ истинахъ христіанства элементаренъ и простъ, въ этомъ его вѣчное значеніе. Этотъ элементарный и простой символической языкъ означаетъ очеловѣченіе Слова Бога. Но Слово Бога введенное въ соціальную среду человѣчества должно будетъ существовать въ этой колективной средѣ, подвергаться постояннымъ ея воздействиимъ, ея внущеніямъ, отражать ея ограниченность и тьму. Религіозный субъектъ будетъ постоянно дѣлать мучительныя усилія вернуться къ простотѣ и элементарности Слова Божіяго, прорваться къ первоначальному откровенію черезъ порабощающую его соціальную и цивилизаторскую среду. И это будетъ удаваться ему лишь частично. Религія будетъ не только духовнымъ, но и соціальнымъ феноменомъ. Воплощеніе будетъ не только проникновеніемъ божественнаго и духовнаго въ природное и человѣческое, но и ограниченіемъ и искаженіемъ божественнаго и духовнаго этимъ природнымъ и человѣческимъ. Слабости и недостатки простой природы Петра станутъ слабостями и недостатками соціально усложненной природы Петра въ церковной исторіи. И на религіозномъ

мышленії, на релігіозній житті будеть отражатися подавленість, угнетеніе, рабство човноїка, якъ обратная сторона явленія подавляющихъ, угнетающихъ и порабощающихъ. Релігіозный свѣтъ, преломлений въ тьмѣ релігіознаго субъекта, породить обскурантизмъ, любовь къ мраку, якъ къ повелѣнію ортодоксії. Съ этимъ связанъ глубокій трагизмъ христіанской жизни.

Ошибочно было бы думать, что релігіозный субъектъ вносить только плохое и темное. Отъ него идетъ и положительное творчество въ релігії. Релігіозный субъектъ претерпѣваетъ измѣненія въ исторіи христіанства. Не всегда будеть христіанское откровеніе восприниматься човноческой природой Петра. Уже Павель былъ иной човноческой природой, онъ не былъ простецомъ, онъ былъ геніальнымъ човнокомъ, такъ много привнесшимъ въ судьбу христіанства, что ставился даже вопросъ, не онъ ли основатель христіанства. Христіанское откровеніе дальше должно было быть воспринято людьми эллинского духа и эллинской мудрости — Климентомъ Александрійскимъ и Оригеномъ. Тутъ совершенно очевидно релігіозный субъектъ былъ иной, чѣмъ во времена евангельски-апостольскія. При этомъ совершенно неумѣстенъ вопросъ, лучше ли онъ, но онъ иной. Сама же истина христіанства одна и та же и продолжаетъ существовать для всѣхъ людей, самыхъ простыхъ, якъ и самыхъ сложныхъ по своей культурѣ, для всякой човноческой души. Въ этомъ отличіе релігії отъ философії, которая существуетъ сравнительно для немногихъ, но которая и не спасаетъ. На протяженіи всей исторіи христіанства релігіозный субъектъ измѣняется, усложняется, обогащается новымъ опытомъ, испытываетъ судьбу блуднаго сына, ставить новыя проблемы и отъ этого не можетъ не зависѣть воспріятіе и пониманіе христіанской истины. Релігіозная теорія познанія не можетъ

оставаться на точкѣ зре́нія наивнаго реализма. Человѣкъ остается человѣкомъ, въ немъ есть вѣчная основа, онъ и Божье твореніе, несущее въ себѣ образъ и подобіе Божье, и существо грѣховное и падшее, онъ есть существо раздвоенное, высокое и низкое, въ немъ свѣтъ и тьма, онъ точка пересѣченія двухъ міровъ. Судьба Іова остается и до сихъ поръ судьбой человѣка. Но человѣкъ переживаетъ все новый и новый опытъ, въ немъ рождается все новая и новая проблемы. Человѣкъ долженъ принять истину откровенія, свѣтъ исходящій отъ религіознаго объекта всей полнотой своего существа, принять не только простотой своего сердца, но и всей сложностью своего ума, своего разумѣнія. Это и дѣлалось въ исторической судьбѣ христианства. Различіе эзотерическаго и экзотерическаго вѣчно. И вотъ мы видимъ, что природа религіознаго субъекта, природа человѣка подвергалась болыщимъ измѣненіямъ въ періодъ исторіи связанный съ гуманизмомъ. Человѣкъ пережилъ новый и большой опытъ, не только изошрился умъ его, но и развернулась душа его, особенно измѣнилась и обогатилась его эмоціональная жизнь. Гуманизмомъ я называю тутъ не міровоззрѣніе, господствовавшее съ эпохи Возрожденія, которое сейчасъ разлагается и окончательно изживаетъ себя, а раскрытие, усложненіе и утонченіе человѣческой природы, обнаруживаніе всѣхъ творческихъ силъ человѣка. Гуманизмъ не есть только міровоззрѣніе, идеология, вѣра и при томъ ложная вѣра, онъ есть также раскрытие человѣка, испытаніе всѣхъ человѣческихъ возможностей. И вотъ въ опытѣ раскрытия человѣка, разворачиванія заложенныхъ въ немъ энергій происходитъ существенное измѣненіе религіознаго субъекта. Переживший опытъ могъ вести къ отпаденію отъ христианской вѣры. Но вернуться къ христианской вѣрѣ можно только съ результатами пережитаго опыта, ко-

торыхъ никакими силами зачеркнуть нельзя. Къ этимъ результатамъ принадлежитъ положительное раскрытие человѣчности. Автономія разума эпохи просвѣщенія, не только болѣе поверхностнаго французскаго, но и болѣе глубокаго нѣмецкаго, просвѣщенія нѣмецкаго идеализма, можетъ и должна быть преодолѣна высшей стадіей. Но невозможно вернуться къ стадіи предшествующей эпохи автономіи разума, къ старой авторитарности. Этотъ процессъ нужно мыслить діалектически. Совершенно невозможно отказаться отъ того сознанія справедливости, отъ того чувства сострадательности, отъ той человѣчности, которая завоеваны гуманистичекимъ процессомъ въ человѣкѣ. Бога долженъ принять человѣкъ и своимъ разумомъ, раскрывающимся въ развитіи философіи и науки, и своимъ исканіемъ соціальной справедливости и своей любовью къ свободѣ и своимъ созерцаніемъ красоты. А это значитъ, что для христіанскаго сознанія имѣеть сейчасъ первостепенное значеніе антропологія, ученіе о человѣкѣ, о религіозномъ субъектѣ. Святоотеческая и схоластическая антропологія не можетъ нась удовлетворить, она была даже не столько христіанская, сколько юдаистически-эллинская и она не знаетъ происшедшіхъ въ человѣкѣ измѣненій, не знаетъ новаго опыта. Возвратъ въ антропологіи къ томизму или къ патристикѣ идетъ мимо запросовъ современной души, не отвѣчаетъ на ея муку. Антропологія эта слишкомъ раціоналистична. Только теперь по настоящему дѣлается возможной психологія. Въ человѣкѣ происходилъ двойной процессъ, и процессъ очищенія отъ старыхъ соціальныхъ внушеній, отъ рабства у старыхъ соціальныхъ отношений, отъ раціоналистического извращенія откровенія, и процессъ нового засоренія, засоренія новыми формами соціальной идолатріи и новымъ раціонализмомъ. Поэтому такое значеніе имѣеть

познаніе колективнаго подсознательнаго, социальныхъ внушеній и соціальнай обусловленности въ религіозномъ сознаніи и религіозной жизни. Это познаніе можетъ имѣть освобождающее значеніе. И мы должны вѣрить, что всѣ существенныя измѣненія въ человѣческой природѣ, всякая ея подлинная гуманізациѣ происходила подъ незримымъ воздействиемъ Духа Божьяго.

Въ антропоморфныхъ представленияхъ о Богѣ есть вѣчная истинна, ибо человѣкъ есть образъ и подобіе Божье, и Богъ вочеловѣчивается, Логосъ воплощается. Но въ религіозной мысли и религіозной жизни примѣшивался дурной антропоморфизъ, образы котораго взяты изъ государственной жизни, основанной на господствѣ и подчиненіи, изъ уголовнаго права, изъ ложныхъ понятій о чести, обѣ оскорблениіи и возстановленіи поруганной чести кровью, изъ родовой жизни пола. Антропоморфизъ попадалъ во власть раціональныхъ человѣческихъ понятій. Саме понятіе о божественной справедливости заключало въ себѣ дурной антропоморфизъ, ибо въ образованіи человѣческаго понятія о справедливости немалую роль игралъ трансформированный и сублимированный подсознательный аффектъ мести. Антропоморфизъ въ богопознаніи былъ также соціоморфизмомъ. Образы взятые изъ соціальной жизни людей переносились на Бога, соціальную символику принимали за послѣднюю онтологическую реальность. Категоріи соціальной родовой жизни переносились на жизнь Бога и на его отношения къ міру и къ человѣку. Такимъ образомъ конечное и грѣховно ограниченное вносилось въ безконечность божественной жизни. Самое отношение къ Богу, какъ къ Господину и повелителю, карающему за нарушение своей воли, взято изъ соціальныхъ отношеній людей и изъ дурныхъ, подлежащихъ преодолѣнію отношеній.

Аффектъ страха, перенесенный на отношение къ Богу, есть аффектъ порожденной природой и социальной необеспеченностью человѣка, его постояннымъ пребываніемъ подъ угрозой, его социальной озабоченностью, его истерзанностью древними инстинктами тиранства. Этотъ страхъ смѣщался съ мистическимъ ужасомъ передъ трансцендентной бездной, передъ тайной бытія, *Mysterium tremendum*, который дѣйствительно есть первичный религіозный феноменъ. Съ соціоморфизмомъ въ религіозной мысли и жизни, подлежащимъ соціологическому истолкованію, связано отношение между катоатическимъ и апоѳатическимъ богопознаніемъ. Катоатическое богопознаніе всегда оказывается проникнутымъ соціоморфическими элементами, апоѳатическое же богопознаніе надъ ними возвышается. Поэтому соціоморфически — катоатическое богопознаніе должно быть признано эзотерическимъ, оно всегда имѣть дѣло съ конечнымъ въ Богъ, а не съ безконечностью божественной жизни. Очищеніе религіозного субъекта отъ соціоморфизма, отъ социальныхъ внушений, отъ социальныхъ категорій господства и подчиненія, отъ древнихъ аффектовъ страха, рабства, подавленности, мести, коренящихся въ колективномъ подсознательномъ, есть путь апоѳатического богоизнанія. Но этотъ духовный путь совсѣмъ не есть отрицаніе откровенія и богочеловѣченіе, т. е. возможной близости Бога и человѣка, человѣчности Бога и богоподобія человѣка, это есть путь очищенія и освобожденія отъ рабьяго соціоморфизма. Очищеніе и освобожденіе религіозного субъекта отъ подавленности социальными наслоеніями означаетъ не отмѣну христіанского откровенія, а духовное углубленіе въ его постиженіи. Духовность въ религіи, спиритуальность въ богопознаній совсѣмъ не есть отрицаніе воплощенія, отверженіе тѣлесности, не есть отвлеченный спиритуа-

лизмъ, подобный индусскому, а есть прежде всего возвышеніе надъ соціальными источниками религії и соціальными ограниченими откровенія. Эти соціальные внушенія, этот дурной антропоморфизмъ оставляютъ христіанство еще схожимъ съ тотемистическими культурами первобытныхъ клановъ. Но есть вѣчный антропоморфизмъ, который не только не можетъ быть преодоленъ и упраздненъ, но долженъ быть окончательно раскрыть и углубленъ. Онъ означаетъ вѣчную христіанскую, богочеловѣческую истину о человѣчности Бога и богоподобіи человѣка. Самая возможность откровенія, возможность внутренняго отношенія между религіознымъ субъектомъ и религіознымъ объектомъ связана съ этой истиной антропоморфизма. Есть также относительный и переходящій антропоморфизмъ, связанный не съ вѣчной и чистой человѣчностью, а съ временной и переходящей человѣчностью, человѣчностью опредѣляемой соціальной обыденностью, соціальной зависимостью, колективнымъ подсознательнымъ. И вотъ этотъ антропоморфизмъ нужно побѣдить во имя чистой человѣчности. Этотъ относительный, соціально обусловленный антропоморфизмъ остается даже въ жизни святыхъ, достигающихъ высшихъ ступеней духовности. Когда христіанство понимаютъ, какъ требование подавленія и подчиненія человѣка, то это, конечно, есть дурной соціоморфизмъ, отраженіе соціальныхъ отношеній людей, перенесенныхъ на отношенія Бога и человѣка. Требование же очищенія, освобожденія, творческаго восхожденія, преображенія и богоуподобленія человѣка свободно отъ этого дурного соціоморфизма. Грѣхопаденіе было истолковано соціоморфически въ образахъ старой подавленности, подчиненности, рабства человѣка. У Маркса было много вѣрнаго обѣ этой соціоморфической сторонѣ религії и этого совсѣмъ не нужно бояться. Чистая же человѣчность и

духовность есть другая сторона покорности воли Божьей.

Религіозный субъектъ легко выдаетъ прошлое, принадлежащее времени, за вѣчное. Исключительно консервативное, традиціоналистическое христіанство думаетъ, что прошлое, древнее есть уже самая вѣчность, не видеть размѣровъ временного, преходящаго, тлѣннаго въ прошломъ, въ будущемъ же склонно видѣть или сохраненіе прошлаго или разрушеніе вѣчнаго. Но это есть ложное отношение къ времени, ложное пониманіе отношенія между временемъ и вѣчностью. Время завоевываетъ вѣчность и потому только оно не окончательно погибаетъ, вѣчность входить во время. Но прошлое есть лишь часть разорваннаго времени и не имѣетъ преимуществъ съ точки зрења вѣчности передъ будущимъ. Въ прошлое входила вѣчность и вѣчность будетъ входить въ будущее или иначе можно сказать, что и прошлое и будущее имѣютъ выходы къ вѣчности. Но и прошлое и будущее все же принадлежать къ разорванному времени. Тотъ фактъ, что что-нибудь есть преданіе дѣдовъ и унаслѣдовано отъ сѣй старины, самъ по себѣ не есть гарантія истины, хотя это преданіе можетъ, конечно, быть и истиной. Новизна будущаго также не есть гарантія истины, какъ и старина прошлаго, въ ней можетъ быть страшная ложь. Но въ новизнѣ будущаго можетъ также раскрываться и твориться истина и правда, пріобщающія къ вѣчности. Христіанскій консерватизмъ, идеализирующій исключительно прошлое, основанъ на томъ, что всякое измѣненіе есть нарушеніе вѣчнаго порядка, измѣненіе къ худшему, а не къ лучшему. Все тутъ основано на предположеніи, что существуетъ вѣчный міровой порядокъ, установленный самимъ Богомъ, объективный порядокъ, исходящій отъ религіознаго объекта. Религіозный же субъектъ дол-

женъ подчиняться этому объективному и вѣчному порядку. Если же онъ хочетъ измѣнять его, то онъ попадаетъ во власть зла. Но вѣра въ существованіе такого объективнаго и вѣчнаго космическаго и соціального порядка, который не долженъ измѣняться, есть лишь состояніе религіознаго субъекта, зависящее отъ извѣстной соціальной среды и соціальныхъ отношеній, находящихся во власти времени, а не вѣчности. Существуютъ вѣчныя духовныя основы жизни, опредѣляемыя религіознымъ объектомъ, т. е. Богомъ, но не существуетъ вѣчнаго естественнаго и соціального порядка, онъ измѣняется и творится. Творчество новизны, измѣненіе есть основной признакъ жизни. Жизнь есть творчество. Человѣкъ, религіозный субъектъ вкорененъ въ вѣчности, въ духовномъ мірѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ все время созидается, творится, обогащаетъ себя, реализуетъ полноту жизни. Поэтому религіозный субъектъ, человѣкъ есть живой парадоксъ, противорѣчивое сочетаніе вѣчности и времени. Отрицать будущее во имя прошлаго такъ же ошибочно, какъ и отрицать прошлое во имя будущаго. Нельзя ни прошлое, ни будущее принимать за вѣчность. Нельзя отрицать традиції. То, что въ ней отъ вѣчности, подлежать сохраненію. Но въ традиції есть многое отъ окостенѣвшаго, остановившагося времени, а не отъ вѣчности. Слишкомъ многое въ традиції имѣеть соціальный, а не религіозный источникъ, опредѣляется безсознательными соціальными вліяніями и наслоненіями религіознаго субъекта. Поэтому традиція постоянно нуждается въ очищенії, въ одухотворенії, въ освобожденії отъ соціальной обыденности прошлаго. Ложное пониманіе соборности и есть пониманіе ея, какъ соціального коллектива, какъ религіознаго мышленія средняго человѣка соціальной обыденности. Но возможно, конечно, пониманіе соборности, какъ качества духа, какъ вну-

тренней универсальности духа. Общество подчинено закону большого числа и потому оно давить индивидуальное, не можетъ его даже замѣтить. Религіозная же жизнь имѣеть прежде всего дѣло съ индивидуальнымъ.

То, что можно назвать ложнымъ объективизмомъ въ религіи, связано съ объективаціей и абсолютизацией соціальныхъ внушеній религіознаго субъекта. Этотъ объективизмъ, давящій духовную жизнь человѣческой личности, и есть какъ разъ субъективизмъ, колективный субъективизмъ, онъ не отъ религіознаго объекта, не отъ Бога, а отъ самого религіознаго субъекта, отъ общества съ его приказами и запретами. Тотемизмъ тоже былъ объективизмомъ, но это былъ объективизмъ соціальный, онъ происходилъ отъ соціальныхъ внушеній религіозныхъ субъектовъ живущихъ въ первобытныхъ кланахъ. Освобожденіе отъ давящаго ложнаго объективизма въ религіи и есть именно освобожденіе отъ ложнаго субъективизма, отъ объективизаціи соціальной зависимости религіознаго субъекта. Такой ложный объективизмъ утвердился въ богословской мысли. Онъ нашелъ свою классическую форму въ томизмѣ. Въ интеллектѣ пытались найти объективное. Но объективный и общеобязательный характеръ интеллектуального состава религіознаго субъекта имѣеть соціальный источникъ. Логика въ значительной степени соціальна, она предполагаетъ сообщеніе, она аргументируетъ для другихъ. Логизація и раціонализація религіозной истины есть также ея соціализація, ея обработка для религіознаго коллектива. Но именно потому интеллектуальный объективизмъ въ религіи отражаетъ субъективизмъ соціального коллектива. Поэтому томизмъ такъ дорожитъ Аристотелемъ и философіей здраваго смысла. Еще гораздо болѣе существенны для религіозной жизни соціальная внушенія въ теоріи авторитета. Теорія

авторитетна желаетъ возвысится надъ производомъ и субъективизмомъ человѣка, хотеть услышать голосъ самого Бога, религіознаго объекта. Но она цѣликомъ находится во власти человѣческаго, во власти религіознаго субъекта и его безсознательныхъ соціальныхъ внушеній. Исканіе критерія истины въ церковномъ авторитетѣ отличается отъ исканія критерія истины въ качественности совѣсти и духа совѣтъ не тѣмъ, что въ одномъ случаѣ критерія ищутъ въ надъ-человѣческомъ и не человѣческомъ, а въ другомъ ищутъ въ человѣкѣ, а въ томъ, что критерій видятъ также въ человѣкѣ, но въ другомъ человѣкѣ, не во мнѣ, что авторитетомъ признаютъ чужой опытъ, чужую мысль, чужое созерцаніе, не мое. Но это и значитъ, что авторитетъ имѣть соціальный характеръ, предполагаетъ другихъ, какъ источникъ истины, онъ опредѣляется коллектиными соціальными внушеніями. Безспорно для моей религіозной жизни имѣть огромное значеніе чужой опытъ, чужая мысль, чужое созерцаніе, религіозный субъектъ не можетъ оставаться замкнутымъ и черпать лишь изъ себя. Истина познается лишь въ опытѣ общенія и общности. Но чужое имѣть для меня значеніе лишь когда оно дѣлается моимъ, роднымъ, моимъ опытомъ, моей мыслью, моимъ созерцаніемъ. Парадоксъ жизни личности въ томъ, что она можетъ раскрывать свое содержаніе, лишь вмѣща въ себя сверхличное. Но при этомъ сверхличное становится и глубоко личнымъ. Религіозная совѣсть всегда глубоко личная, чужая совѣсть не можетъ замѣнить моей совѣсти и не можетъ быть мнѣ навязана, но въ личную совѣсть имманентно входить и совѣсть сверхличная. Тутъ нѣть авторитарно-внѣшнихъ отношеній. Теорія авторитета цѣликомъ находится во власти человѣческаго, она идетъ отъ религіознаго субъекта и объективизируетъ его соціальную жизнь во времени, она есть

миєтворчество колективного релігіозного субъекта, какъ напр. въ папизмѣ. То, что представляется авторитетомъ, какъ исходящее не отъ меня, а отъ другихъ, отъ отцовъ, отъ древнихъ, отъ іерархіи, отъ папы, то есть человѣческое, но на известной стадії соціальної об'єктивизації. Мое мнѣніе, мое изъявленіе совѣсти еще не достигаетъ этой ступени соціальної об'єктивизації, оно можетъ позже ея достигнуть и тогда стать древнимъ, традиціоннымъ. Сверхчеловѣческое, исходящее отъ релігіозного объекта, можетъ раскрываться и въ моей совѣсти и въ совѣсти древнихъ. Богъ дѣйствуетъ въ глубинѣ свободной совѣти человѣка, въ глубинѣ духа. И дѣйствие Бога на человѣческія сообщества, на соціальные организмы людей происходитъ черезъ имманентное качество соціальности, общности въ личной совѣсти, въ цѣлостности личнаго разума, а не черезъ дѣйствие на соціальную обыденность, на временный об'єктивированный соціальный порядокъ, который искажаетъ релігіозное откровеніе дурнымъ соціоморфизмомъ.

Именно потому, что релігіозный субъектъ подвергается соціальнымъ вліяніямъ и мѣняется, христіанство въ исторіи должно было пройти черезъ очистительную критику, черезъ видимое возстаніе противъ него. Ізвилистыми и кривыми путями очищается релігіозный субъектъ отъ срашеннія вѣчной истины откровенія съ временными, преходящими, относительными, отъ внушений соціальной обыденности, принятыхъ за теофаніи. Релігіозный субъектъ одухотворяется, очеловѣчивается черезъ кризисы и катастрофы, которые видимо могутъ производить впечатлѣніе смерти самаго христіанства. Можно въ концѣ концовъ признать, что и Спиноза со своей борьбой съ антропоморфизмомъ, и злые издѣвательства Вольтера, и критика Канта, и діалектика Гегеля, и антропо-

логізмъ Фейербаха, и обличенія класової лжи Марксомъ, и библейская критика, и міфологическая теорія, и восстаніе противъ христіанства Ницше, и провокації Розанова были обогащающими опытомъ, были очистительнымъ огнемъ. Революції, какъ бы онѣ ни были ужасны, какъ бы онѣ ни принимали богооборческій характеръ, имѣютъ очистительный характеръ, повышають качество релігіозной жизни. Христіанская антропология, до сихъ поръ еще недостаточно раскрыта и развитая, должна поставить вопросъ о творческой активности релігіознаго субъекта, который не можетъ оставаться пассивнымъ. Эта активность релігіознаго субъекта означаетъ не только его отрицательную соціальную зависимость, въ силу которой онъ искаjaетъ христіанство въ угоду своимъ расовымъ, національнымъ, семейнымъ, сословнымъ, классовымъ инстинктамъ и интересамъ, но и его положительное творческое призваніе, его положительное соціальное дѣло. Жизнь христіанскаго міра есть богочеловѣческій процессъ и въ немъ человѣкъ всегда вносить свою активность и творчество. Христіанская истина открылась для всякой человѣческой природы, самой простой и элементарной, но также и природы усложненной и интеллектуально изощренной. И неизбѣжно ставится вопросъ о христіанскомъ оправданіи творческаго акта философа, ученаго, художника, моралиста и соціального реформатора, техника-строителя. Этотъ творческій актъ не получилъ еще оправданія въ принятіи христіанства природой Петра. Оправданіе творческаго акта человѣка въ разныхъ сферахъ культуры и соціальной жизни дѣлалось черезъ подчиненіе его релігії, релігіозному авторитету, релігіозному акту, какъ главному, первенствующему и господствующему надъ жизнью. При этомъ творческій актъ познавательный, художественный, моральный, соціальный, техническій представлялся

второстепеннымъ и второсортнымъ по своему значению, подчиненнымъ и подсобнымъ. При рѣзкомъ раздѣлениі «сакрального» и «профанинаго» «профанное» или остается совсѣмъ неоправданнымъ или имѣеть второстепенное значеніе. Это привело къ тому, что творческій актъ человѣка во всѣхъ сферахъ возсталъ противъ религіи, какъ противъ тираніи, и автономно пытался утвердить свои достоинство и значеніе. Никогда творецъ и строитель въ области познавательной, художественной или соціальной не примирится съ тѣмъ, что его творческое дѣло второстепенное, подчиненное, лишь дозволенное, лишено высшаго достоинства. Религія не можетъ извѣтъ подчинить себѣ творческую жизнь человѣка, какъ высшая іерархическая власть. Очевидно оправданіе всей творческой жизни человѣка возможно лишь чрезъ свободное раскрытие имманентной религіозности самаго творческаго акта, котораго ждетъ отъ человѣка Богъ. Человѣкъ долженъ какъ бы свободно догадаться, чего онъ него ждетъ Богъ. Богъ дѣйствуетъ въ мірѣ *incognito*, употребляя любимое выраженіе Кирхегардта. Такъ при виѣшнемъ подчиненіи искусства религіи оно не можетъ уже изображать трагедіи человѣческаго существованія, ему предписывается изображать благополучный религіозный выходъ. Жизнь самаго художника представляетъ трагический конфликтъ, но онъ отказывается изображать трагедію жизни въ своемъ творчествѣ. Такой трагический конфликтъ мы видимъ въ жизни Расина, онъ былъ порожденъ столкновеніемъ его янсенистскаго сознанія съ его творческимъ духомъ. Онъ призналъ за лучшее перестать писать трагедіи и перейти отъ второстепеннаго и сомнительнаго художественнаго акта къ первостепенному и несомнѣнному религіозному акту. Тоже мы видимъ въ жизни Гоголя. Ученіемъ о грѣхопаденіи и ложной аскетической метафизикой необычайно злоупотребляли для уни-

женія чоловѣка, для отрицанія его творческаго призванія. И въ этомъ играли, конечно, огромную роль колективныя соціальныя внушенія, отразавшія рабства чоловѣка, инстинкты порабощенія и инстинкты порабощенности. И все, что освобождаетъ чоловѣка отъ рабства, благопріятно для очищенія, одухотворенія и очеловѣченія христіанства, освобождаетъ отъ ложнаго антропоморфизма и утверждаетъ истинный антропоморфизмъ, раскрываетъ богоподобное достоинство чоловѣка. Основное заблужденіе исключительно консервативнаго христіанства было связано съ идеей законченности творенія, идеей вѣчнаго и неизмѣннаго объективнаго порядка, природнаго и соціальнаго. При этомъ у чоловѣка оставалось одна лишь задача — покорность и послушаніе этому порядку, творческихъ задачъ у него не было. Этой ложной идеѣ противостоить не идея эволюціи, находящейся во власти натуралистического детерминизма, а идея творчества, творческой свободы чоловѣка, призванной продолжать и завершать міртвореніе. «Философія общаго дѣла» Н. Федорова есть примѣръ активнаго христіанства, проактивнаго и побѣднаго. По сознанію Н. Федрова чоловѣкъ призванъ не покориться объективному порядку вещей, а побѣдить и покорить его во имя всеобщаго воскресенія.

Европейскій гуманизмъ переживаетъ кризисъ и повидимому кончается. Гуманистическая идеология не увлекаетъ болѣе молодыя теченія. Гуманисты производятъ впечатлѣніе людей прошлаго, отошедшаго вѣка. Я самъ много обѣ этомъ писалъ. Но въ чемъ ложь гуманизма, почему онъ безсиленъ, почему онъ переживаетъ кризисъ и кончается? Ложь и безсиліе гуманизма совсѣмъ не въ томъ, что онъ утверждалъ достоинство чоловѣка и его творческое призваніе, а въ томъ, что онъ недостаточно это дѣлалъ, отвергъ источникъ до-

стоинства и творческого призвания человека и привель къ унижению и отрицанию человека. Гуманизмъ перенесъ смыслъ и цѣнность жизни исключительно въ этотъ видимый мірь. Онъ не до неба, не до Бога утверждалъ достоинство и призвание человека, онъ началъ отрицать Бога и потому кончилъ и отрицаніемъ человека. Преодолѣть гуманизмъ нужно во имя человека, во имя его высшаго достоинства, а не противъ человека и не для его униженія. Между тѣмъ какъ антигуманистическая теченія нашей эпохи часто означаютъ унижение и отрицаніе человека, дегуманізацию мысли и жизни. Въ этомъ отношеніи интересна и симптоматична діалектическая теология. Въ теченіи связанномъ съ К. Бартомъ смѣшаны реакціонные и революціонные элементы. Бартіанство есть рѣзкая и острыя реакція противъ гуманизма внутри христіанства. Но это теченіе идетъ дальше и возстаетъ противъ всякой связи и соединенія Творца и творенія, противъ всякой попытки заполнить трансцендентную бездну между Богомъ и міромъ, Богомъ и человекомъ. Этотъ мотивъ есть возвратъ къ истокамъ реформаціи. Онъ опредѣлялся въ ней реакціей противъ эллинскихъ и гуманистическихъ элементовъ въ католичествѣ. Сейчасъ же онъ опредѣляется реакціей противъ эллинского духа и гуманизма въ протестантизмѣ XIX вѣка. Но бартіанство приходитъ къ унижению и уничтоженію человека, человѣческаго элемента въ христіанствѣ. Для этого теченія не существуетъ тайны богочеловѣчества, тайны сближенія божественной и человѣческой природы, которое произошло въ Христѣ и должно произойти въ христіанскомъ человѣчествѣ. У бартіанцевъ силенъ ветхозавѣтный библейскій духъ, они исповѣдуютъ реюдоизированное христіанство. Въ этомъ реакціонной сторонѣ бартіанства. Человѣкъ есть лишь грѣхъ, онъ не свободный духъ, въ немъ истребленъ образъ и подобіе Божье и

онъ не способенъ къ положительному творчеству. Религіозный субъектъ остается неизмѣннымъ, онъ всегда есть лишь выявление грѣха. Но въ бартіанствѣ есть и революціонная сторона. Это есть очищающій кризисъ христіанского сознанія. Подобно Кирхегарду бартіанство революціонно отрицаєтъ всѣ ложныя теофаніи въ мірѣ, признаетъ грѣховность всѣхъ земныхъ воплощений, грѣховность самой жизни церкви. Съ этимъ связана эсхатологичность бартіанства. И это въ немъ скорѣе революціонный, чѣмъ реакціонный мотивъ. Христіанство должно быть очищено отъ ложныхъ священныхъ воплощений, отъ обоготовленія натурального, земного, соціального по своимъ источникамъ, что какъ разъ и было причиной церковнаго консерватизма. Есть два источника реакціонно-консервативнаго христіанства — униженіе и отрицаніе человѣка, его свободы, его самостоятельности и творчества, и признаніе священнымъ и божественнымъ того, что есть въ прошломъ относительное и преходящее дѣло человѣка, что имѣеть соціальный источникъ. Бартіанство реакціонно въ первомъ отношеніи и революціонно во второмъ. Но нужно признать высшее достоинство, богоподобие и творческое призваніе человѣка, его соучастіе въ дѣлѣ Божьемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ увидѣть относительный и преходящій характеръ человѣческихъ дѣяній, связанныхъ съ соціальной дѣйствительностью, т. е. никогда не обоготовлять догматизирующаго разума, рода, класса, государства, формъ соціального быта, не отождествлять съ послѣдними реальностями символики человѣческаго языка, проникнутой природными и соціальными внущеніями. Въ этомъ вся трудность.

Тайна религіозной жизни въ ея двучленности, въ ея бого-человѣчности, во встрѣчѣ и соединеніи двухъ. Эта тайна находитъ себѣ совершенное выраженіе въ христіанствѣ, какъ религіи Бого-чело-

вѣка и Бого-человѣчества. Но эта двучленность, двухприродность религіозной жизни предполагаетъ динамичность, актуальность и измѣняемость религіознаго субъекта. Религіозную жизнь и особенно христіанскую жизнь невозможно себѣ представить, какъ стояніе неизмѣняющагося религіознаго субъекта передъ неизмѣняющимся религіознымъ объектомъ. Религіозный процессъ, который можетъ быть названъ первичнымъ религіознымъ феноменомъ, есть двойной процессъ — процессъ рожденія Бога въ человѣкѣ и рожденія человѣка въ Богѣ, откровенія Бога человѣку и откровенія человѣка Богу. Это и есть выраженная въ догматической символикѣ тайна двуединства, соединеніе двухъ природъ безъ ихъ смѣшенія. Этотъ двойной характеръ религіознаго процесса, эта двучленность самаго феномена откровенія и порождаетъ трагизмъ религіозной жизни. Трагизмъ этотъ вкорененъ въ свободѣ. Динамика религіозной жизни не можетъ не быть ея трагикой. Религіозный субъектъ находится въ динамикѣ, послѣ всего пережитаго и передуманнаго за рядъ столѣтій онъ во многомъ измѣнился и, обращаясь къ вѣчной истинѣ христіанства, онъ ее по новому воспринимаетъ. Ошибочно было бы сказать, что религіозный субъектъ непремѣнно улучшился, иногда онъ ухудшился, потерялъ цѣльность и силу вѣры. Но въ лучшія, свѣтлые минуты своей жизни онъ жаждетъ свободной встречи съ Богомъ, онъ хочетъ увидѣть христіанское откровеніе очищеннымъ и освобожденнымъ отъ искажающихъ соціальныхъ наважденій, расовыхъ и национальныхъ, семейныхъ, сословныхъ, классовыхъ, освобожденнымъ отъ абсолютизаціи условной и преходящей символики человѣческаго языка и разума, отъ ложной его стабилизаціи. Религіозный субъектъ проходитъ черезъ очищающіе кризисы и революціи. Онъ не только очищается и освобож-

дается, но и творить. И вотъ парадоксъ, къ которому мы приходимъ. Христіанство будетъ осуществлять соціальную правду только тогда, когда оно будетъ свободно отъ порабощающихъ соціальныхъ внущеній и навожденій. Христіанство будетъ осуществлять соціальную правду, будетъ творить лучшую жизнь, когда оно перестанетъ быть безсознательно соціальной религіей, религіей родовой, государственной, национальной, классовой, раціонализированной и юридизированной, когда христіане будутъ слушать голосъ Бога, а не голосъ общества, голосъ безконечнаго, а не голосъ конечнаго. Признаніе измѣняемости религіознаго субъекта не только не есть отрицаніе вѣчнаго въ человѣкѣ, но какъ разъ и есть обращеніе отъ преходящихъ формъ общества къ внутреннему, вѣчному человѣку, раскрытия которого и есть величайшая задача.

Николай Бердяевъ

ТРАГЕДІЯ ЗЛА

(Философский смысл образа Ставрогина).

I.

Среди всѣхъ романовъ Достоевскаго «Бѣсы» занимаютъ совсѣмъ особое мѣсто. Въ этомъ романѣ, который самимъ авторомъ былъ задуманъ какъ «тенденціозное сочиненіе», нашъ «фантастический» писатель болѣе всего приблизился къ эмпирической дѣйствительности. Правда, въ теченіе работы надъ этимъ своимъ произведеніемъ Достоевскій измѣнилъ первоначальный замыселъ романа: изъ «памфлета» вырасло само собою твореніе съ глубокимъ метафизическимъ содержаніемъ, имѣющее сверхвременное значеніе. Какъ это всегда бывало съ Достоевскимъ, онъ не въ силахъ былъ совладать со множествомъ «обступившихъ его» въ то время идей и образовъ. Поэтому въ романѣ, который первоначально былъ задуманъ имъ какъ чуть ли не полемическое сочиненіе, онъ включилъ цѣлый рядъ своихъ «самыхъ любимыхъ» мыслей, которые, по его словамъ, предназначались имъ ранѣе для другого болѣе «монументальнаго труда». И въ данномъ случаѣ онъ слѣдовалъ лишь закону своего художественнаго творчества: эмиристическая дѣйствительность всегда была для Достоевскаго только символомъ болѣе глубокой реальности метафизического порядка, реальности

идеи, въ чемъ онъ и самъ справедливо усматривалъ особенность своего «болѣе реальнаго идеализма». И все же, несмотря на то метафизическое углубление, которое испытали «Бѣсы», они остались, если и не тенденціознымъ, то во всякомъ случаѣ полемическимъ сочиненіемъ, въ которомъ современная Достоевскому дѣйствительность оказывается часто изображенной съ почти фотографической точностью. Двупланность эмпирическаго и метафизического дѣйствія, которая столь характерна для всѣхъ большихъ романовъ Достоевскаго, усугубляется въ «Бѣсахъ» до чрезвычайной степени: изображеніе современной эмпирической дѣйствительности, нерѣдко граничащее съ полемической на нее карикатурой, тѣсно переплетается здѣсь съ глубокой символикой, изображающей реальнѣйшую реальность міра идей. Вся архитектоника романа и самый его стиль становятся вполнѣ понятными, только если принять во вниманіе эту заостренную полярность двухъ плановъ бытія, въ которыхъ протекаетъ напряженное дѣйствіе романа.

Дѣйствительное событие, которое изображено во внѣшнемъ дѣйствіи «Бѣсовъ», хорошо известно. Это было убійство студента Иванова Нечаевымъ и его товарищами. Нетрудно также узнать въ образахъ отца и сына Верховенскихъ, а также въ образѣ писателя Кармазинова, реальныхъ лицъ: Григоріевскаго, Нечаева и Тургенева, изъ коихъ двое первыхъ фигурируютъ даже въ рукописныхъ запискахъ Достоевскаго къ роману подъ ихъ собственными именами. А. Долинину недавно удалось показать, что даже такая подробность, какъ разсказъ Шатова о его и Кириллова приключеніяхъ въ Америкѣ почти дословно заимствованъ Достоевскимъ изъ журнальной статьи, въ которой описывалось путешествіе двухъ русскихъ студентовъ въ Америку, имъ въ романѣ пародируемое. Однако Достоевскій не ограничивается только фактами, заим-

ствованными имъ изъ виѣшнихъ источниковъ. Онъ надѣляетъ своихъ героевъ также и чертами, взятыми имъ изъ личнаго опыта. Такъ Петръ Верховенскій есть, по его собственнымъ словамъ, не только Нечаевъ, но «отчасти также Петрашевскій», къ революціонному кружку котораго Достоевскій принадлежалъ въ своей юности. Отцу Верховенскому Достоевскому вложилъ въ уста безспорно много изъ того, что онъ слышалъ или во всякомъ случаѣ могъ слышать отъ Бѣлинскаго, тѣмъ болѣе, что какъ разъ во время писанія «Бѣсовъ» онъ съ особенной остротой переживалъ какъ бы возстаніе противъ «открывшаго» его когда-то критика. Извѣстно также, что одна изъ бесѣдъ Кармазинова есть прямая пародія на разговоръ Тургенева съ Достоевскимъ, о которомъ послѣдній въ свое время съ возмущеніемъ писалъ въ одномъ изъ своихъ писемъ Майкову. Описаніе «нашихъ» (революціонеровъ) въ «Бѣсахъ» полно чертами (какъ напримѣръ увлеченіе идеями Фурье), которыхъ гораздо болѣе подходятъ къ кружку Петрашевскаго, чѣмъ къ нечаевцамъ, хотя съ другой стороны пониманіе революціи Верховенскимъ-сыномъ почти дословно совпадаетъ съ «Катехизисомъ революціи» Нечаева.

Вполнѣ понятно поэтому, что изслѣдователи Достоевскаго давно уже подняли вопросъ объ эмпирическомъ прототипѣ главнаго героя «Бѣсовъ». Безспорно, образъ Ставрогина выдѣляется среди всѣхъ другихъ мужскихъ образовъ романа (включая даже Шатова и Кириллова) тѣмъ, что въ немъ трудно уловить даже малѣйшія черты какой бы то ни было карикатуры или даже только ироніи. Только самому себѣ иногда кажется Ставрогинъ «смѣшнымъ», но не другимъ героямъ романа и ужъ менѣе всего читателю, которому онъ представляется чисто трагическимъ героемъ. Отсюда его «загадочный», даже «фантастический» характеръ, какъ

бы выдѣляющій его среди другихъ, болѣе эмпирическихъ героевъ. А между тѣмъ безспорно, что Достоевскій не только взялъ своего героя «изъ своего сердца», какъ онъ самъ однажды говоритъ, но и изъ личныхъ своихъ воспоминаній. Болѣе того, изъ всѣхъ героевъ «Бѣсовъ» Ставрогинъ является, пожалуй, наиболѣе точнымъ изображеніемъ совершенно конкретной исторической личности. Первоначальное предположеніе, что прототипомъ Ставрогина былъ М. Бакунинъ, представляется теперь уже всѣми оставленными. Л. Гроссманъ, выставившій это предположеніе, самъ въ сущности уже отказался отъ него въ своихъ послѣднихъ работахъ. Если даже и вѣрно, что отношеніе Николая Ставрогина къ революціонерамъ напоминаетъ отношеніе Бакунина къ нечаевскому кружку, если иные черты Бакунина, какъ напримѣръ его славянофильство, воспроизведены въ образѣ Ставрогина, то все же нынѣ является уже совершенно безспорнымъ, что эмпирическимъ прототипомъ Ставрогина былъ Николай Спешневъ, членъ кружка петрашевцевъ, съ которымъ Достоевскій находился въ тѣсныхъ личныхъ отношеніяхъ, называя его «своимъ Мефистофелемъ». Въ образѣ Ставрогина личное воспоминаніе возобладало такимъ образомъ надъ «тенденціей», какъ и вообще послѣдняя совершенно стущевывается въ характеристику Ставрогина. «Поразило меня тоже его лицо: волосы его были что-то ужъ очень черны, свѣтлые глаза его что-то ужъ очень спокойны и ясны, цвѣть лица что-то ужъ очень нѣженъ и бѣль, румянецъ что-то ужъ слишкомъ ярокъ и чистъ, зубы какъ жемчужины, губы какъ коралловыя, — казалось бы, писаный красавецъ, а въ то же время какъ-будто и отвратителенъ. Говорили, что лицо его напоминаетъ маску». Достаточно только сравнить это описание Ставрогина въ романѣ съ сохранившимся портретомъ Спешнева, чтобы сра-

зу же узнать въ Спешневъ эмпирическій прототипъ Ставрогина. Да и описанія Спещнева его современниками вполнѣ соответствуютъ тому, что говорить Достоевскій о Ставрогинѣ. «Уменъ, богатъ, образованъ, хорошъ собою, наружности самой благородной, далеко не отталкивающей, хотя и спокойно холодной, вселяющей довѣrie, какъ всякая спокойная сила, — джентельменъ съ ногъ до головы. Мужчины не могутъ не увлекаться, онъ слишкомъ безстрастенъ и, удовлетворенный собой и въ себѣ, кажется не требуетъ ничьей любви; зато женищины, молодыя и старыя, замужнія и незамужнія, были и, пожалуй, если онъ захочетъ, будуть отъ него безъ ума... Спешневъ очень эффектенъ: онъ особенно хорошо облекается мантіей многодумной, спокойной непроницаемости». По словамъ того же Бакунина, Спешневъ, какъ и Ставрогинъ, умѣль внушать къ себѣ довѣrie, «всѣ отзывались о немъ съ большими уваженіемъ, хотя и безъ всякой симпатіи», и это несмотря на всѣмъ известные слухи о его распущенной жизни за границей и о будто бы причиненномъ ими самоубійствѣ его жены. Точно такъ же и характеристика Спешнева, имѣющаяся въ актахъ слѣдственной комиссіи по дѣлу петрашевцевъ, во всѣхъ подробностяхъ вполнѣ подходитъ къ Ставрогину. «Спешневъ, гордый и богатый, видя самолюбіе свое неудовлетвореннымъ, желалъ играть роль между своими воспитанниками (какъ и Ставрогинъ онъ воспитывался въ лицѣ). Онъ не имѣль глубокаго политического убѣжденія, не былъ исключительно пристрастенъ ни къ одной изъ системъ соціалистическихъ, не стремился, какъ Петрашевскій, постоянно и настойчиво къ достижению либеральныхъ своихъ цѣлей; замыслами и заговорами онъ занимался какъ бы отъ нечестивого дѣлать; оставляя ихъ по прихоти, по лѣни, по какому-то презрѣнію къ своимъ товарищамъ, слишкомъ, по мнѣнію его, молодымъ или малообразован-

нымъ, — и вслѣдь за тѣмъ готовъ былъ приняться опять за прежнее, приняться, чтобы опять оставить». По тѣмъ же даннымъ и интересовался онъ больше проблемой атеизма, чѣмъ соціальными проблемами.

Если такимъ образомъ вопросъ объ эмпирическомъ прототипѣ Ставрогина можетъ въ настоящее время почитаться достаточно выясненнымъ, то совсѣмъ иначе обстоитъ дѣло съ философскимъ содержаніемъ образа Ставрогина. Вопросъ о мѣстѣ, которое главный герой «Бѣсовъ» занимаетъ въ метафизическомъ планѣ дѣйствія романа, остается до сихъ поръ еще нерѣшеннымъ, а опубликованная недавно «Исповѣдь Ставрогина» еще болѣе обострила споръ объ идеологическомъ смыслѣ этого загадочнаго героя Достоевскаго. Между тѣмъ для самого Достоевскаго герой его былъ прежде всего воплощеніемъ идеи. «Идея обхватываетъ и владѣеть имъ», говорить Достоевскій въ своихъ запискахъ, «но имѣть то свойство, что владычествуетъ въ немъ не столько въ головѣ его, сколько воплощаясь въ него, переходя въ натуру, всегда со страданіемъ и беспокойствомъ и, уже разъ поселившись въ натурѣ, требуетъ и немедленнаго примѣненія къ дѣлу». На этомъ именно основаніи и говорилъ про Ставрогина Достоевскій: «Весь этотъ характеръ записанъ у меня сценами, дѣйствіемъ, а не разсужденіями; стало быть, есть надежда, что выйдетъ лицо» *). Ибо подлинное лицо есть у Достоевскаго всегда воплощеніе идеи, проявляющейся однако какъ метафизическая сила во всемъ образѣ дѣйствій даннаго лица, а не въ одномъ только его мышленіи или его словахъ.

*) Ср. Материалы къ «Бѣсамъ» въ т. VIII собранія сочиненій изд. 1906 г., стр. 559, и Письма, 11, 289.

2.

Ставрогинъ не только главный герой «Бѣсовъ», но и центральная въ немъ фигура, «солнце», вокругъ котораго вращаются всѣ другіе образы романа. Только черезъ отношенія къ нимъ понимаемъ мы вполнѣ его образъ, точно такъ же какъ и всѣ другія лица романа въ немъ находятъ свое послѣднее объясненіе. Это видно уже изъ отношенія Ставрогина къ его воспитателю Верховенскому. Онъ имѣеть со Степаномъ Трофимовичемъ то общее, что оба они «оторвались отъ почвы», отошли отъ народа, не имѣютъ корней въ народной жизни. Они въ извѣстной мѣрѣ суть порожденія петровской революціи, вырвавшей трагическую пропасть между народомъ и интеллигентіей. Они относятся къ тѣмъ многочисленнымъ русскимъ людямъ, которые, будучи не въ силахъ найти свое мѣсто въ мірѣ, такъ часто кончаютъ свою жизнь «лишними людьми». Какъ говорить Достоевскій позднѣе въ своей пушкинской рѣчи, Пушкинъ былъ первый, кто ясно понялъ и какъ бы открылъ это характерное для всей послѣ-петровской Россіи «поколѣнія странниковъ», которое онъ и изобразилъ въ лицѣ Алеко и Онѣгина. Послѣ Пушкина типъ этого оторвавшагося отъ почвы и парализованного въ своей волѣ, ненаходящаго себѣ мѣста въ мірѣ интеллигента, сталъ излюбленнымъ типомъ русской литературы XIX вѣка. Въ Ставрогинѣ онъ получилъ свое самое трагическое и философски самое глубокое воплощеніе. Версиловъ уже уступаетъ ему по силѣ и трагичности, а Иванъ Карамазовъ, являющійся какъ бы послѣднимъ въ ряду этого «поколѣнія странниковъ», выходитъ уже изъ рамокъ этого чисто русскаго типа и вырастаетъ въ образъ общечеловѣческаго метафизического значенія.

Подобно своему духовному отцу Степану Тро-

Фимовичу, и Николай Ставрогинъ — отщепенецъ, еретикъ въ первоначальномъ смыслѣ этого слова (*αἴφεσις*), и какъ таковой — отвлеченный, разсудочный человѣкъ. Однако онъ представляеть собою уже какъ бы второе поколѣніе этого типа людей, разсудочность утрачиваеть въ немъ свою первоначальную наивность. Ставши предметомъ рефлексіи и самокритики, она становится у него нечастьемъ, горемъ отъ ума. Комическое Верховенского становится у Ставрогина трагическимъ. Тогда какъ стариkъ Верховенскій съ наивностью просвѣщенца вѣрить въ идеалы добра и красоты и можетъ воодушевляться ими, то Ставрогинъ уже подточенъ невѣriемъ. Туманный, отвлеченный деизмъ первого превращается у него въ атеизмъ. Тогда какъ Верховенскій вѣрить въ прогрессъ, будучи воодушевленнымъ поклонникомъ западной культуры, для Ставрогина Европа есть уже не что иное, какъ «дорогое кладбище». Если Верховенскій совершенно не сознаетъ всей легкомысленности своего приживальщического существованія на счетъ русскаго народа, а духовно на счетъ Запада, то у Ставрогина «скука и лѣнь русскаго барича» пріобрѣтаютъ уже размѣры развратной праздности, не останавливающейся даже передъ преступлениемъ. Невинные «малыя грѣшки» воспитателя усугубляются у «принца Гарри» въ загадочную и мрачную «жизнь великаго грѣшника», вполнѣ ясно сознающаго уже грѣховность своего существованія. Тогда какъ невинный, почти что дѣтскій оптимизмъ первого заставляетъ его однажды, въ моментъ глубокаго духовнаго прозрѣнія, про себя самого сказать: «Другъ мой, я всю жизнь свою лгалъ, даже когда говорилъ правду», — то Ставрогинъ уже точно знаетъ, что вся жизнь его есть обманъ и ложь, что даже его покаяніе есть не что иное, какъ только маска его презрѣнія къ людямъ и его вызывающей гордости. Быстро утѣшаясь,

старикъ Верховенскій не замѣчаетъ того, какъ онъ съ каждымъ годомъ все болѣе засасывается бытомъ. Напротивъ, Ставрогинъ остается непримиримымъ въ своемъ несчастномъ одиночествѣ, которое но-ситъ у него характеръ сознательнаго уединенія. Никакъ нельзя представить себѣ его плачущимъ. Старикъ Верховенскій, напротивъ, изображенъ плаксивой бабой — комическая транспозиція бла-годатнаго «дара слезнаго», который Достоевскій такъ высоко цѣнилъ. Безплодіе и полное безсиліе пребывающаго въ абстракціяхъ воодушевленія Верховенскаго вырождается у Ставрогина уже яв-но въ «чистое отрицаніе», отрицаніе «безо всякой великолѣпія и безо всякой силы», лишенное вся-кой любви, въ томъ числѣ даже любви къ даль-нему, и вполнѣ сознающее это свое собственное небытие. Тѣмъ, что разумъ у Ставрогина утратилъ свою наивность и сталъ предметомъ саморефлексіи, онъ разложилъ себя, какъ начало жизни, и сдѣлал-ся уже началомъ смерти.

Это сознаніе потерянности уединившагося въ себѣ самомъ разума составляетъ существенную черту характера Ставрогина. Ею онъ и отличает-ся прежде всего отъ своихъ либерально-оптими-стическихъ отцовъ. Плѣнникъ своего отвлеченна-го разума, онъ отталкивается отъ разума. Невѣ-рующій, онъ стремится къ вѣрѣ, хочетъ ее, онъ непрерывно колеблется между безвѣріемъ и желаніемъ вѣры, и такъ какъ къ необходимости вѣры приводить его все тотъ же разумъ, то его желаніе вѣры носить разсудочный и «надрывный» харак-теръ. Образы Кириллова и Шатова воплощаютъ въ себѣ это основное противорѣчіе Ставрогинской души. Въ нихъ Ставрогинъ «созерцаеть себя, какъ въ зеркаль». Оба они вѣрятъ въ него, «не могутъ вырвать его изъ своего сердца», думаютъ, что слѣ-дуютъ только его идеямъ. Вотъ Кирилловъ, кото-раго «съѣла его идея». Онъ вѣритъ или, вѣрїще,

онъ чувствуетъ себя «обязаннымъ вѣрить, что онъ не вѣрить». Онъ весь охваченъ своимъ невѣріемъ и дѣлаетъ изъ него всѣ выводы, не останавливаясь ни передъ чѣмъ въ своемъ атеистическомъ восторгѣ: прямая противоположность Ставрогину, который правильно про себя говоритъ: «Я никогда не могу потерять разсудокъ и никогда не могу повѣрить идеѣ въ той степени, какъ онъ». Кирилловъ вѣрить въ абсолютную мощь разума. «Человѣкъ несчастливъ», говоритъ онъ, «потому, что не знаетъ, что онъ счастливъ; только потому». «Надо имъ узнатъ, что они хороши, и всѣ тотчасъ же станутъ хороши, всѣ до единаго». «Кто научить, что всѣ хороши, тотъ міръ закончить», по вѣрѣ Кириллова. Онъ есть какъ бы чистое воплощеніе разума, этого, по словамъ Достоевскаго, «чисто человѣческаго начала въ человѣкѣ». Поэтому идеи Кириллова и есть ни что иное, какъ абсолютированіе человѣка. Онъ вѣрить «не въ будущую вѣчную жизнь, а въ здѣшнюю вѣчную». Человѣкъ для него довлѣеть себѣ, и онъ чувствуетъ себя одинокимъ въ мірѣ со своей «страшной свободой». «Время для него не предметъ, а идея: погаснетъ въ умѣ». «Своеволіе» есть атрибутъ его человѣкобога. Вполнѣ послѣдовательно выводить онъ изъ этого абсолютнаго уединенія человѣка самоубійство, какъ средство «показать своееволіе», какъ практическое осуществленіе опустошенного «я», въ которомъ нѣть уже ничего другого, которое въ полной мѣрѣ «поставило свое дѣло на ничто». Но здѣсь какъ разъ мы наталкиваемся на ограниченность разума и безвѣрія. Кирилловъ самъ чувствуетъ эту ограниченность, но охваченный своей идеей, не хочетъ ее видѣть. «Я не понимаю, какъ могъ до сихъ поръ атеистъ знать, что нѣть Бога, и не убить себя тотчасъ же. Сознать, что нѣть Бога, и не сознать въ тотъ же разъ, что самъ Богомъ сталъ, — есть нелѣпость, иначе непремѣнно убѣшь

себя самъ. Если сознаешь — ты царь, и уже не убьешь себя самъ, а будешь жить въ самой главной славѣ. Но одинъ, тотъ, кто первый, долженъ убить себя самъ непремѣнно, иначе кто же начнетъ и докажетъ? Это я убью себя самъ непремѣнно, чтобы начать и доказать. Я еще только богъ поневолѣ, и я несчастенъ, ибо *обязанъ* заявить свое *волѣ*. Этой обязанностью, которую чувствуетъ Кирилловъ, онъ все же связанъ съ другими людьми вопреки своему уединенію. Ставрогинъ ясно видитъ этотъ разладъ и противорѣчіе внутри Кириллова. «Великодушный» и «хорошій» Кирилловъ чувствуетъ себя *обязаннымъ* доводами разума преодолѣть свой страхъ, которымъ онъ все еще остается привязаннымъ къ миру и къ Богу. Вотъ это воодушевленіе Кириллова, котораго предметомъ только является разумъ, но которое менѣе всего разсудочно, его-то и недостаетъ Ставрогину. Ставрогинъ безсиленъ даже утверждать свое невѣріе. Будучи «чистымъ отрицаніемъ», онъ «не можетъ никогда воодушевиться идеей». Онъ-то видитъ, что невѣріе Кириллова только тонкой перегородкой отдѣлено отъ вѣры въ Бога. Поэтому онъ болѣе невѣрующъ, чѣмъ Кирилловъ. Онъ не вѣритъ не только своимъ разумомъ, какъ это дѣлаетъ Кирилловъ, но, въ отличіе отъ послѣдняго, не вѣритъ сердцемъ своимъ и волей, будучи лишенъ всякой любви и восторга. Не вѣря всѣмъ своимъ существомъ, онъ, напротивъ, разумомъ сознаетъ границы невѣрія, необходимость вѣры, къ которой толкаетъ его его разумъ, онъ принимаетъ даже Бога своимъ разумомъ, но именно потому его атеизмъ, атеизмъ сердца, во много разъ превосходитъ чисто разсудочный атеизмъ Кириллова.

Эту именно надрывную, разумомъ навязанную вѣру въ Бога, воплощаетъ Шатовъ. Онъ тоже поклонникъ и ученикъ Ставрогина, несмотря на все возмущеніе свое противъ учителя. Шатовъ

утверждаетъ, что онъ повторяетъ только слова Ставрогина, «воскресившаго его изъ мертвыхъ». «Никогда», утверждаетъ онъ, «разумъ не въ силахъ быть опредѣлить зло и добро, или даже отдѣлить зло отъ добра, хотя бы приблизительно». На этомъ именно основаніи онъ отрицаєтъ соціализмъ, который есть для него ни что иное, какъ атеистическая «попытка построить міръ единственно на началахъ разума и науки». Онъ видитъ, что атеизмъ коренится въ оторванности атеиста отъ народа, отъ почвы, и онъ умоляетъ Ставрогина: «цѣлуйте землю», «добудьте Бога трудомъ, мучицкимъ трудомъ». Въ возвращеніи къ народу, который есть для него «г҃ло Божье», видитъ онъ единственный еще остающійся Ставрогину путь спасенія. Русскій народъ есть единственный народъ-богоносецъ, и въ своей ненависти къ мертвей Европѣ заходитъ Шатовъ такъ далеко, что видитъ въ католицизмѣ родоначальника атеизма и соціализма. Для него католицизмъ вообще гораздо хуже атеизма. Въ этомъ отношеніи отъ идетъ гораздо дальше славянофиловъ, съ которыми, по словамъ Ставрогина, у него то общее, что и онъ также подмѣняетъ утраченную непосредственную вѣру желаніемъ вѣры, будучи только, какъ и они, богоискателемъ, жаждущимъ вѣры. На слова Ставрогина, что онъ низводить Бога до атрибута народности, Шатовъ отвѣчаетъ: «Напротивъ, я народъ возношу до Бога». Поэтому-то забота о народѣ превозмогаетъ въ немъ заботу о Богѣ. Онъ абсолютируетъ народъ, точно такъ же, какъ Кирилловъ абсолютируетъ разумъ. Ставрогинъ, безсильный воодушевиться какой-нибудь идеей, не раздѣляетъ этого воодушевленія Шатова, этой его вѣры въ народъ». «Въ Россіи я ничѣмъ не связанъ», говоритъ онъ, «въ ней мнѣ все такъ же чужое, какъ и вездѣ». Онъ даже «не могъ въ ней ничего возненавидѣть». Поэтому въ словахъ Шатова, воз-

вращающего ему его собственные разсудочные доводы въ пользу вѣры, онъ слышитъ только надрывность этой вѣры, несмотря на всю страстиность шатовскаго исканія. «Я хотѣлъ лишь узнать, спросилъ онъ Шатова, сурово посмотрѣвъ на него, вѣруете вы сами въ Бога или нѣтъ? — Я вѣрую въ Россію, я вѣрую въ ее православіе... Я вѣрую въ тѣло Христово... Я вѣрую, что новое пришествіе совершился въ Россіи... Я вѣрую, залепеталъ въ изступленіи Шатовъ. — А въ Бога, въ Бога? — Я... Я буду вѣровать въ Бога». Если по отношению къ Шатову можно примѣнить извѣстныя слова Паскаля о томъ, что «кто Меня ищетъ, тотъ уже владѣеть Мною», то Ставрогинъ не ищетъ Бога, зная уже, что онъ Его никогда не найдетъ. Невѣріе Кириллова, видѣли мы, было чисто разсудочнымъ невѣріемъ, къ которому, въ послѣдней глубинѣ его существа, примѣшивалась вѣра въ Бога. Наоборотъ, вѣра Шатова слишкомъ разсудочная вѣра, подтачиваемая изнутри невѣріемъ. Его любовь и ненависть превозмогаютъ однако его сомнѣнія, Ставрогинъ же, напротивъ, «ни холоденъ ни горячъ». Онъ ничего не можетъ противопоставить своимъ сомнѣніямъ, ибо сердце его исполнено безразличія. «Если я недостаточно вѣрю, то, значитъ, я вообще не вѣрю», говорить онъ про себя. Въ отличіе отъ Кириллова, котораго съѣла его идея, Ставрогинъ разъѣденъ идеей. «Ставрогинъ, если вѣруетъ, то не вѣруетъ, что онъ вѣруетъ», говорить про него Кирилловъ. «Если же не вѣруетъ, то не вѣруетъ, что онъ не вѣруетъ». Поэтому онъ и осужденъ постоянно качаться между невѣріемъ и желаніемъ вѣры. Отрицаніе, нашедшее въ немъ свое воплощеніе, такъ и осуждено было оставаться «безъ всякаго великодушія и безъ всякой силы». «Даже отрицанія не вылилось», признается онъ самъ въ послѣднемъ письмѣ къ Дашѣ. Изъ

«двухъ возможностей» — вѣрить или сжечь — онъ не въ силахъ быть даже избрать второй.

Что онъ стоялъ передъ этимъ выборомъ, и что его невѣріе часто понуждало его къ тому, чтобы избрать эту вторую возможность, — объ этомъ свидѣтельствуетъ отношеніе Ставрогина къ революціонерамъ и къ ихъ предводителю Петру Верховенскому. Отъ своего отца Петръ Верховенскій унаслѣдовалъ убѣжденіе, за которымъ однако не стоитъ уже болѣе никакого воодушевленія, а только самый беззастѣнчивый цинизмъ. Въ той самой мѣрѣ, въ какой воодушевленіе выродилось у него въ цинизмъ безсильная мечтательность его отца уплотнилась у него въ дѣйственныи фанатизмъ. Петръ Верховенскій всегда въ движениі. Онъ ходить и движется очень торопливо, но никуда неторопится. Кажется, ничто не можетъ привести его въ смущеніе; при всякихъ обстоятельствахъ и въ какомъ угодно обществѣ онъ останется тотъ же. Въ немъ большое самодовольство, но самъ онъ его въ себѣ не примѣчаетъ нисколько. Говорить онъ скоро, торопливо, но въ то же время самоувѣренно и не лѣзетъ за словомъ въ карманъ. Его мысли спокойны, несмотря на торопливый видъ, отчетливы и окончательны, — и это особенно выдается. Выговоръ его удивительно ясенъ; слова его сыплются, какъ ровныя, крупныя верхушки, всегда подобранныя и всегда готовыя къ вашимъ услугамъ». Активность какъ бы совершенно закупорила въ немъ всякую созерцательность и вообще всякую духовность, онъ и описанъ Достоевскимъ, какъ чистый механизмъ дѣйствія. Мелкимъ чертамъ его соответствуютъ короткія мысли и плоскость всего его существа. Нѣть въ немъ импонирующего, хотя и пустого, достоинства его отца. Идеи интересуютъ его мало. Онъ расцѣниваетъ ихъ лишь какъ орудіе дѣйствія, да у него и нѣть никакихъ собственныхъ идей, это все чужія идеи, но «какъ все это

искажено, исковеркано», какъ въ ужасѣ воскликнѣаетъ Степанъ Трофимовичъ. Отцовскій либерализмъ выродился у него въ послѣдовательное и безшабашное отрицаніе всѣхъ цѣнностей. Добро, Красота, Святое, даже самая Истина, — все это для него лишь порожденія Пользы. Въ атеизмѣ его нѣть уже ничего отъ глубокой проблематики Кириллова, почему онъ и неизбѣжно вырождается въ простое богохульство. Свобода есть для него давно уже ни что иное, какъ сентиментальная иллюзія, почему онъ и замѣнилъ ее рабскимъ равенствомъ. Отвлеченная любовь къ человѣчеству дошла у него до своего логического конца, выродившись въ циническое презрѣніе къ народу, въ которомъ онъ видитъ лишь простое удобреніе революціи. Убийство, грабежъ, поджогъ, всѣ средства хороши для поставленной имъ себѣ цѣли. Но самая-то цѣль, ихъ освящающая, — о ней Петръ Верховенскій предпочитаетъ вообще не думать. «Филантропами» презрительно обзываютъ онъ всѣхъ тѣхъ, кто тратятъ время на размышленія о будущемъ строѣ. Новый міръ построится ужъ какъ нибудь самъ собой, послѣ разрушенія стараго міра. Сейчасъ все дѣло въ разрушеніи, на которое и должны быть направлены всѣ усилия. Отвлеченное отрицаніе, на дрожжахъ котораго выросъ беспочвенный раціонализмъ отцовъ, породило здѣсь какъ свой плодъ реальное отрицаніе, разрушение и уничтоженіе. Если у отцовъ было міровоззрѣніе, то у сына Верховенскаго есть только программа, да и программа эта съ теченіемъ времени стянулась въ одну тактику. Для этого въ головную тактику изсякшаго міровоззрѣнія нуженъ еще только одинъ талантъ — талантъ нахрапа. Петръ Верховенскій, который, какъ никто другой, обладаетъ этимъ «даромъ бездарности», есть чистое воплощеніе отвлеченности разума, выродившейся въ чистое отрицаніе.

И все же, діалектика отрицанія ставить передъ нимъ необходимость подчиниться какому-то авторитету, хотя бы и вымышленному имъ самимъ. Сынъ Верховенскій принимаетъ систему Шигалева, которая, «исходя изъ безграничной свободы, приходитъ къ безграничному деспотизму», въ которой «кубито всякое желаніе, только необходимое позволено», а «горе и воля» разрѣшены только «властвующей одной десятой». Такъ нигилистъ и атеистъ жаждетъ поклониться идолу, богохульникъ становится идолоискателемъ, если не идолопоклонникомъ. Но если Ставрогина толкаеть желать вѣры въ Бога его разумъ, то Петра Верховенскаго влечеть поклониться идолу его безудержная активность. Разуму, изсякшему до простой тактики, болѣе всего и соответствуетъ ложный богъ богъ скрытый, не открывающій себя людямъ, но дѣйствующій тайно, вынуждающій себѣ подчиненіе насильно, чудесами, а не привлекающій къ себѣ людей, какъ свободныя существа, одной только чисто духовной силой явленнаго имъ нравственнаго идеала.

Верховенскій влечется къ Ставрогину, какъ къ своему Ивану-Царевичу, потому что онъ чувствуетъ въ немъ всѣ тѣ дары Антихриста, въ которыхъ онъ нуждается, и которыхъ у него самого нѣть. «Я люблю красоту», говорить онъ Ставрогину, «я нигилистъ, но люблю красоту. Развѣ нигилисты красоту не любятъ? Они только идоловъ не любятъ, ну, а я люблю идола! Вы мой идолъ! Вы никого не оскорбляете, и васъ всѣ ненавидятъ; вы смотрите всѣмъ ровней, и васъ всѣ боятся, это хорошо. Къ вамъ никто не подойдетъ васъ потрепать по плечу. Вы ужасный аристократъ! Аристократъ, когда идетъ въ демократы, обаятеленъ! Вамъ ничего не значить пожертвовать жизнью, и своей, и чужою. Вы именно таковъ, какого надо. Мнѣ, мнѣ именно такого надо, какъ вы. Я никого,

кромъ васъ, не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я вашъ червякъ....» Въ Ставрогинъ Петра Верховенского восхищаетъ не только его «изумительная способность къ преступлению», за которой стоитъ полное безразличіе къ добру и злу, и которой онъ самъ обладаетъ въ высокой степени, но великолѣпіе этого дара у Ставрогина, какъ бы полная его безкорыстность, демоническая сила, излучаемая Ставрогинымъ и совершенно отсутствующая у него, человѣка пользы. Онъ тоже не останавливается ни передъ какимъ преступленіемъ, но онъ дѣлаетъ это изъ соображеній разсудочной пользы, тогда какъ Ставрогинъ совершаетъ свои преступленія даже безъ всякоаго умысла, какъ своего рода гений въ кантовскомъ смыслѣ, какъ бы нѣкакая природная сила, не знающая, что она творить. Впрочемъ, Ставрогинъ сознаетъ свои преступленія, и трагическое его образа состоитъ какъ разъ въ томъ, что демонъ его стоитъ выше всякой пользы, и что никакія утаптистическія соображенія не могутъ его обмануть относительно истиннаго характера его существа, не могутъ заглушить въ немъ сознанія собственной гибели. Ставрогинъ наивѣки осужденъ созерцать разумомъ безвѣріе своего сердца, почему разумъ и толкаетъ его къ тому, чтобы желать вѣры. Въ этомъ именно и заключается его крестный путь, означененный въ его имени (*стасис*): ему недостаетъ любви, которая есть единственный источникъ истинной вѣры, и онъ самъ сознаетъ это совершенное отсутствие въ себѣ любви. Если зло дѣйствуетъ въ Петрѣ Верховенскомъ разлагающе, то въ Ставрогинѣ оно само уже внутренне разложено и потому оно у него болѣе созерцательно, чѣмъ активно, дѣйствуетъ тѣмъ, что привлекаетъ, а ни орудуетъ. Поэтому также, если Ставрогинъ есть идолъ Верховенского, то этотъ послѣдній — ни что иное, какъ «обезьяна» Ставрогина. Глубоко правильно

опредѣлилъ Вячеславъ Ивановъ Петра Верховенскаго какъ ставрогинскаго Мефистофеля, а Ставрогина — какъ отрицательнаго русскаго Faуста, — «отрицательнаго потому, что въ немъ изсякла любовь, а съ изсякшой любовью и то стремленіе, которымъ спасается Faустъ» *). Обѣ «ночи», когда Ставрогинъ соблазняется своимъ Мефистофелемъ и смотрится въ него какъ бы въ свое зеркало, занимаютъ въ композиції «Бѣсовъ» центральное мѣсто. Весь характеръ Ставрогина и его судьба уже вполнѣ опредѣлены здѣсь.

3.

«Никогда никого не могу я любить», признается Ставрогинъ въ своей «Исповѣди», и эта неспособность его любить проявляется въ особенно яркой формѣ въ его отношеніи къ женскимъ образамъ романа. Сынъ своенаравной и деспотической генеральши Ставрогиной, тайнымъ бракомъ женатый на безумной Маріи Лебядкиной, любовникъ гордой и страстной Лизы, онъ «безцѣннымъ другомъ своимъ» имѣеть «нѣжную и великодушную» Дашу, воспитанницу его матери и сестру Шатова. При этомъ однако онъ ни сынъ, ни супругъ, ни любовникъ, ни другъ, ему недостаетъ любви, чтобы это его вѣнчаное отношеніе къ близко стоящимъ къ нему женщинамъ сдѣлалось конкретнымъ и живымъ отношеніемъ. Отношеніе его къ нимъ отвлеченно и мертво, не только внутренне раздвоено, но и пропитано все обманомъ и ложью. Всѣ четыре женщины живутъ имъ, любятъ его до самозабвенія, и все же онъ внушаетъ имъ столько же смертнаго страха, сколько и любви. Ихъ любовь проявляетъ

*) Ср. статью его — «Достоевскій и романъ-трагедія». Борозды и Межи, М. 1916. — Эта замѣчательная статья включена Вяч. Ивановымъ въ недавно вышедшую по-нѣмецки его книгу: W. Ivanov. Dostoevskii. Tübingen 1932, — пожалуй, самое значительное, что написано о Достоевскомъ.

наружу всю двойственность его природы: его оторванность от Бога и его горькое сознание этого отпада. Страстная и наивная Лиза мечтает его спасти своей любовью, вдохнуть въ него снова жизнь своей страстью, но наталкивается на такое безразличие души, что одной ночи оказалось достаточно для того, чтобы ея мечта разсъялась, какъ «опереточная иллюзія». «Миѣ всегда казалось», говорить она, «что вы заведете мѧня въ какое-нибудь мѣсто, гдѣ живеть огромный злой паукъ въ человѣческій ростъ, и мы тамъ всю жизнь будемъ на него глядѣть и его бояться, въ томъ и пройдетъ наша взаимная любовь». Даща тоже вполнѣ сознаетъ, какая перспектива ее ожидаетъ, хотя любовь ее и ее вѣра питають въ ней надежду, что смиреніе ее и терпѣніе въ концѣ концовъ пре-возмогутъ безразличіе Ставрогина, и она сможетъ ему «возставить цѣль». На этотъ разъ однако самъ Ставрогинъ не вынесъ перспективы «жизни въ Ури». Онъ чувствуетъ, что въ своемъ абсолютномъ уединеніи онъ не только не можетъ ничего дать, но и ничего взять отъ Дащи, какъ бы ни была прекрасна и дѣйственна ея любовь. «Вникните тоже, что я васъ не жалѣю, коли зову, и не уважаю, коли жду. А между тѣмъ и зову и жду», — пишетъ онъ Дашѣ. Онъ находитъ въ себѣ силы отказаться отъ обмана такой любви безъ жалости и безъ уваженія, и изъ гордости въ концѣ концовъ выбираетъ онъ второй путь, тоже обманный, — «показать великолѣдіе», котораго у него на дѣлѣ нѣть. Гордость заставляетъ его все же избрать этотъ второй путь — самоубійства. Настолько хватило въ немъ всетаки силы, чтобы мгновенную смерть предпочесть медленному умиранию.

Это безсиліе Ставрогина выйти изъ обмана, въ которомъ онъ пребываетъ, пріобрѣтаетъ глубокій символический смыслъ въ отношеніи Ставрогина къ Хромоножкѣ. Дѣйственная душа тайной

жены Ставрогина заперта въ ея больномъ тѣлѣ, какъ въ темницѣ. Сумасшедшая Марія Лебядкина тоскуетъ по своемъ возлюбленномъ, по небесномъ своемъ князѣ, который бы освободилъ душу ее отъ власти князя тьмы, искупилъ бы ее невѣдомый грѣхъ своею любовью *). Ставрогинъ то представляется ей этимъ именно княземъ, то напротивъ она чувствуетъ смертный грѣхъ въ его присутствіи. Когда Ставрогинъ принимаетъ рѣшеніе объявить свой бракъ съ ней, то все, что онъ можетъ предложить ей — это безнадежность существованія, ничѣмъ не отличающагося отъ той же медленной смерти. Изъ гордости и презрѣнія къ людямъ Ставрогинъ готовъ нести тяжесть своего каприза. Онъ готовъ наказать себя, но онъ не можетъ сострадать, не можетъ нести бремени любви и стало-быть также и бремени жизни. Для этого онъ слишкомъ уединенъ, и нѣть вѣры въ его равнодушномъ сердцѣ. Онъ не только не вѣритъ разумомъ въ искупленіе и въ воскресеніе, но онъ отрицає ихъ всѣмъ своимъ существомъ, не способенъ ни своимъ сердцемъ, ни своей волей пріобщиться къ нимъ. За маской «князя» и «сокола» Хромоножка ясно видитъ самозванца, «проклятаго Гришку Отрепьеву», она не только видитъ ножъ въ карманѣ, которымъ онъ убьетъ ее немощное тѣло, но видитъ и его самаго, самозванца, осужденнымъ на гибель. «Прочь, самозванецъ, повелительно вскричала она, я моего князя жена, не боюсь твоего ножа». (Замѣчательно, что не только герои романа, но и его истолкователи были введены въ заблужденіе маской Ставрогина. Хотя самъ Достоевскій совершилъ опредѣленно говорить о своемъ герое какъ о «мрачномъ явленіи», даже «злодѣѣ», большинство критиковъ Достоевскаго видятъ въ немъ не отри-

*) Въ цитированной выше статьѣ (и книгѣ) Вяч. Ивановъ даетъ глубокое истолкованіе представленного здѣсь символа: въ Хромоножкѣ символизована русская «мать-земля», ожидающая своего жениха и мучимая лже-княземъ и его бѣсами.

цательный, а положительный образъ. Видѣть зло изображенныи трагически такъ необычно, что и трагичность Ставрогина (а самъ Достоевскій называетъ Ставргина «трагической фигурой») пытаются истолковать какъ добро, подпадшее злу или судьбѣ. На дѣлѣ однако главнымъ героемъ метафизического дѣйствія «Бѣсовъ» является не добро, соблазненное зломъ, а самое зло, трагедія котораго и символизована въ образѣ Ставрогина. Въ этомъ отношеніи «Бѣсы» представляютъ прямую противоположность «Братьямъ Карамазовыимъ», имѣющими своимъ предметомъ трагедію добра. Тогда какъ въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» добро изображено въ динамической схемѣ своихъ восходящихъ ступеней, метафизическое дѣйствіе «Бѣсовъ» носить, напротивъ, статический характеръ: зло отражается здѣсь въ образахъ другихъ героеvъ романа, которые кружатся вокругъ него, какъ главнаго героя трагедіи, и эта статичность метафизического дѣйствія еще усиливается отъ своего контраста съ напряженной динамикой эмпирическаго дѣйствія романа. Сознаніе неисполненной любви, соединенное съ безсиліемъ любить, — въ этомъ адѣ Ставрогина. Не только своимъ разумомъ, но всѣмъ своимъ существомъ не вѣритъ онъ въ Бога, отъ котораго отпалъ, разорвавъ связь любви, коей всѣ существа связаны съ Богомъ и другъ съ другомъ. Тѣмъ, что онъ сознаетъ этотъ собственный свой отпадь отъ Бога, онъ преодолѣваетъ самъ границы своего невѣрія, однако и это онъ дѣлаетъ только своимъ разумомъ, побуждающими его желать вѣры и тѣмъ самымъ еще острѣе переживать свое собственное безсиліе любить и, слѣдовательно, вѣрить. Подобно тому, какъ беспочвенность русскаго интеллигента потенцирована у Ставрогина въ отпадь отъ Бога, точно такъ же и скуча русскаго барича пріобрѣтаетъ у него размѣры чисто люциферовской трагедіи. Типъ прижи-

вальщика и лишняго человѣка, оторванного отъ народа и неимѣющаго собственной жизни, усугубляется въ образѣ Ставрогина до двойничества, до чисто призрачнаго бытія, которое для Достоевскаго и есть бытіе зла. Зло, думаетъ Достоевскій, живетъ всегда на чужой счетъ, какъ приживальщикъ, на счетъ добра, маску котораго оно принимаетъ, и отраженнымъ свѣтомъ котораго оно обманываетъ. У него нѣть собственной жизни, а есть только мнимая жизнь, видимость жизни. И, дѣйствительно, сознаніе жизни вытѣснило у Ставрогина самое жизнь. Ставрогинъ живеть въ своихъ отраженіяхъ или въ своихъ «бѣсахъ». «Или, вѣрнѣе, другіе живутъ имъ, для него (вспомнимъ о женскихъ типахъ романа) и «отъ него», а онъ самъ не живеть, онъ нереаленъ, онъ только Самозванецъ въ дѣйствительности и возможности, «Іванъ-царевичъ», «Гришка Отрепьевъ». Вѣдь за нимъ идутъ живые люди, принимающіе его за нѣчто совсѣмъ другое, чѣмъ онъ есть въ дѣйствительности. Ибо въ дѣйствительности онъ «разсыпанъ», «двоится», безлико-многоликій, вселикій». Въ тотъ моментъ, когда сумасшедшая Марія Лебядкина распознаетъ Ставрогина какъ самозванца, его судьба окончательно опредѣляется. Раньше онъ думалъ еще, что чортъ, являющійся ему, есть только галлюцинація, которую онъ сможетъ отогнать напряженiemъ своей жизненной силы, теперь онъ видить въ немъ реальность, противъ которой онъ ничего уже не можетъ подѣлать. Съ этого момента Ставрогинъ вѣрить въ чорта: сознавъ вполнѣ свою неспособность вѣрить въ Бога, онъ теряетъ даже волю вѣрить. Съ этого времени онъ уже обреченъ смерти. Подобно тому, какъ вѣра въ Бога и Христа для Достоевскаго есть дѣло не разума, а любви, являющейся источникомъ жизни, точно такъ же и вѣра въ чорта и въ Антихриста есть для него ни что иное, какъ совершенное изсякновеніе любви и

омертвѣніе души, за которымъ слѣдуетъ и тѣлесная смерть. Даша видѣтъ это съ совершенной ясностью, говоря Ставрогину: «Въ ту минуту, какъ вы увѣрите въ него, вы погибли».

4.

Какъ извѣстно, эти слова Даши, какъ и все мѣсто, гдѣ Ставрогинъ разсказываетъ ей о своихъ галлюцинаціяхъ, выпущены Достоевскимъ изъ окончательного текста «Бѣсовъ», очевидно, потому, что онъ полагалъ, что мѣсто это слишкомъ тѣсно связано съ «Исповѣдью», которая должна была за нимъ слѣдовать, и только изъ связи съ послѣдней можетъ быть понято читателемъ. Въ самомъ дѣлѣ, «Исповѣдь Ставрогина», какъ и вся выпущенная глава «У Тихона», къ которой она относится, составляетъ, на нашъ взглядъ, органическую часть «Бѣсовъ», и если она и не представляетъ собой «кульминаціонной точки романа», какъ думаетъ А. Долининъ, то все же она бросаетъ яркій свѣтъ на образъ Ставрогина, существенно восполняя его характеристику. Что Достоевскій выпустилъ главу «У Тихона» противъ своей воли, слѣдя лишь категорическому настоянію Каткова, тогдашняго редактора «Русскаго Вѣстника», — обстоятельство это столь же безспорно, какъ и то, что онъ впослѣдствіи примирился съ этимъ пропускомъ и уже не думалъ возстановливать въ отдѣльномъ изданіи романа пропущенной главы. Не подлежитъ также сомнѣнію, что этотъ вынужденный пропускъ «Исповѣди» существенно отразился на планѣ романа, измѣнивъ первоначально предполагавшійся ходъ его дѣйствія. Изъ письма Достоевскаго къ Каткову отъ 8. X. 1870 г. по поводу отсылки первой части «Бѣсовъ», мы узнаемъ въ точности, въ чемъ состояло это измѣненіе. Достоевскій предполагалъ въ послѣдней части романа

противопоставить «мрачнымъ фигурамъ» рядъ положительныхъ типовъ, среди которыхъ, въ частности, большую роль долженъ быть играть епископъ Тихонъ, прообразомъ которого Достоевскому служилъ св. Тихонъ Задонскій. Уже тогда, во время писанія первой части «Бѣсовъ», Достоевскому предносился возвышенный образъ «русскаго инока», нашедшій свое окончательное воплощеніе лишь десять лѣтъ спустя въ «Братьяхъ Карамазовыхъ». Въ выпущенной главѣ «Бѣсовъ» образъ этотъ только бѣгло намѣченъ. Тихонъ не участвуетъ въ дѣйствіи романа, стоитъ въ изображенной въ немъ трагедіи, и вся роль его сводится къ тому, чтобы еще рѣзче оттѣнить черты главнаго героя, романа, ему столь противоположнаго. Что и самъ по себѣ идеальный образъ русскаго инока мало годился для того, чтобы быть активнымъ участникомъ дѣйствія романа, видно изъ того, что въ послѣдующихъ попыткахъ образъ этотъ точно такъ-же остается въ дѣйствія трагедіи. Такъ въ «Подросткѣ» Макаръ Алексѣевичъ изображенъ странникомъ, появленіе которого каждый разъ ярко освѣщаетъ и дѣйствіе и героевъ романа, но мало воздѣйствуетъ на нихъ, и даже старецъ Зосима въ образѣ которого этотъ замыселъ писателя получилъ свое окончательное и совершенное воплощеніе, остается по ту сторону какъ эмпирическаго, такъ и метафизического дѣйствія изображенной въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» трагедіи, несмотря на все вліяніе, оказанное имъ на характеръ и судьбу младшаго героя ее, Алеши. Вынужденному пропуску «Исповѣди» изъ «Бѣсовъ» мы обязаны тѣмъ обстоятельствомъ, что Достоевскій отказался отъ своего первоначальнаго замысла включить Тихона въ дѣйствіе романа, и что «Бѣсы» остались такимъ образомъ чистой трагедіей зла. Замыселъ Достоевскаго противопоставить злу «величавый образъ добра» отъ этого только выигралъ: за де-

сять лѣтъ, прошедшихъ отъ «Бѣсовъ» до «Братъевъ Карамазовыхъ», образъ «русскаго инока» выросъ въ душѣ Достоевскаго, созрѣлъ и смогъ получить свое совершенное воплощеніе въ лицѣ старца Зосимы. Съ другой стороны, у насть нѣтъ никакихъ основаній предполагать, что пропускъ «Исповѣди» хотя бы въ чѣмъ-либо измѣнилъ характеръ и судьбу Ставрогина, какъ это полагаютъ В. Комаровичъ и А. Бемъ.. Утратилась не «возможность въ характерѣ и судьбѣ Ставрогина», будто-бы существовавшая въ умѣ автора до вынужденаго пропуска «Исповѣди», но лишь включеніе въ общую канву «Бѣсовъ» того «ряда положительныхъ фигуръ», которое дѣйствительно составляло первоначальный замыселъ писателя. Если Достоевскій въ концѣ концовъ примирился съ пропускомъ главы и не включилъ ее снова въ отдѣльное изданіе романа, то только потому, что положительная идея, которую онъ хотѣлъ выразить въ образѣ «русскаго инока» была ему слишкомъ дорога, и онъ не хотелъ ее, по собственному своему признанію, испортить тѣмъ бѣглымъ изображеніемъ ее, которое только и дано въ пропущенной главѣ *). Такимъ образомъ онъ не возстановилъ этой главы ради не удовлетворяющаго его въ ней образа Тихона, а не потому, что бы изображеніе Ставрогина въ ней противорѣчило образу Ставрогина въ романѣ. Онъ такъ сказать, пожертвовалъ Ставрогинымъ ради Тихона — будущаго Зосимы.

Въ самомъ дѣлѣ, предположеніе, что Достоевскій выпустилъ «Исповѣдь» «изъ внутреннихъ основаній» тѣсно связано съ опредѣленнымъ истолкованіемъ «Исповѣди». Изслѣдователи, защищающіе эту точку зрѣнія, видятъ въ «Исповѣди» искренний актъ покаянія и вѣры, открывающей, дѣйствительно, новую жизнь передъ героемъ романа въ

*) Ср. письмо къ Майкову отъ 9. X. 1870 — Письма, II, 291.

духъ фабулы такъ и не написаннаго Достоевскимъ «Житія великаго грѣшника», работа надъ которымъ была прервана «Бѣсами». Однако нѣть ничего болѣе превратнаго, чѣмъ такое толкованіе. Прежде всего, оно рѣзко противорѣчить словамъ повѣстователя «Бѣсовъ», безспорно выражавшаго мнѣніе самаго автора. «Документъ этотъ, по-моему, говорить про «Исповѣдь» повѣстователь, дѣло безполезное, дѣло бѣса, овладѣвшаго этимъ господиномъ. Похоже на то, когда страдающій острою болью мечется въ постели, желая найти положеніе, чтобы хотя на мигъ облегчить себя. Даже и не облегчить, а лишь бы только замѣнить хотя на минуту прежнее страданіе другимъ. И тутъ уже разумѣется не до красивости или разумности положенія. Основная мысль документа — страшная, не-притворная потребность кары, потребность креста, всенародной казни. А между тѣмъ эта потребность креста все-таки въ человѣкѣ, не вѣрющемъ въ крестъ, — «а ужъ это одно составляетъ идею», — какъ однажды выразился Степанъ Трофимовичъ въ другомъ, впрочемъ, случаѣ. Съ другой стороны, весь документъ въ то же время есть нѣчто буйное и азартное, хотя и написанъ, повидимому, съ другою цѣлью. Авторъ объявляеть, что онъ «не могъ» не написать, что онъ былъ «принужденъ», и это довольно вѣроятно: онъ радъ бы миновать эту чащу, если бы могъ, но онъ дѣйствительно, кажется, не могъ, и ухватился лишь за удобный случай къ новому буйству. Да, большой мечется въ постели и хочетъ замѣнить одно страданіе другимъ, — и вотъ борьба съ обществомъ показалась ему положеніемъ легчайшимъ, и онъ бросаетъ ему вызовъ. Дѣйствительно, въ самомъ фактѣ подобнаго документа предчувствуєтся новый, неожиданный и не-почтительный вызовъ обществу. Тутъ поскорѣе бы только встрѣтить врага»...

То же самое думаетъ объ «Исповѣди Ставроги-

на» и Тихонъ. «Если бы это дѣйствительно было покаяніе и дѣйствительно христіанская мысль», говорить онъ, прочтя «документъ». «Васъ поразило до вопроса жизни и смерти страданіе обиженного вами существа: стало-быть, въ васъ есть еще надежда, и вы попали на великий путь, путь изъ неслыханныхъ: казнить себя передъ цѣлымъ міромъ заслуженнымъ вами позоромъ. Вы обратились къ суду всей церкви, хотя и не вѣруя въ церковь; такъ ли я понимаю? Но вы какъ бы уже ненавидите и презираете впередъ всѣхъ тѣхъ, которые прочтутъ здѣсь написанное, и зовете насть въ бой». «О, вамъ нуженъ не вызовъ, а непомѣрное смиреніе и приниженіе. Нужно, чтобы вы не презирали судей своихъ, а искреннеувѣровали въ нихъ, какъ въ великую церковь, тогда вы ихъ побѣдите и обратите къ себѣ примѣромъ и сольветесь въ любви». Но Ставрогинъ далекъ въ «Исповѣди» отъ всякой любви. Его исповѣдь есть актъ гордости, а не смиренія, есть вызовъ, а не приниженіе, онъ не въ состояніи преодолѣть своего уединенія и той «брезгливости», которую онъ испытываетъ по отношенію къ своимъ близкимъ. Отсюда эта «боязнь смѣшнаго», которая по мнѣнію Тихона, его «кубеть». Поэтому и отговариваетъ Ставрогина отъ опубликованія его «листковъ». «Васъ беретъ желаніе мученичества и жертвы собою; поборите и сіе желаніе ваше, отложите листки и намѣренія ваши, и тогда уже все поборете. Всю гордость свою и бѣса вашего посрамите. Побѣдителемъ кончите, свободы достигнете».

Наконецъ, и самъ Ставрогинъ тоже вполнѣ сознаетъ, что представляетъ собою въ своемъ истинномъ существѣ его исповѣдь. «Я, можетъ-быть, вамъ очень налагалъ на себя, — настойчиво повторилъ вдругъ Старогинъ, — я даже не знаю еще самъ... Впрочемъ, что же, что я ихъ вызываю грубостью моей исповѣди, если вы уже такъ замѣтили вызовъ?

Такъ и надо. Они стоять того». — «То есть, ненавидя ихъ, вамъ станетъ легче, чѣмъ если принявъ отъ нихъ сожалѣніе?» отвѣчаетъ на это Тихонъ, чтобы вскорѣ съ выраженіемъ сильнѣйшей горести воскликнуть: «Я вижу... я вижу, какъ наяву, что никогда вы, бѣдный погибшій юноша, не стояли такъ близко къ новому и еще сильнѣйшему преступленію, какъ въ сию минуту». — «Ставргинъ даже задрожалъ отъ гнѣва и почти отъ испуга. — Проклятый психологъ! оборвалъ онъ влругъ въ бѣшенствѣ и, не оглядываясь, вышелъ изъ кельи».

Въ самомъ дѣлѣ, когда Ставргинъ передавалъ Тихону листки своей исповѣди, онъ уже точно зналъ, что въ это самое время жена его будетъ убита однимъ изъ его «бѣсовъ», каторжникомъ Федѣкой, и притомъ убита по его собственному слову. Онъ зналъ это, зналъ также, что онъ есть настоящій убійца, и все же пальцемъ обь палецъ не ударилъ, чтобы предотвратить убійство. Подобно убійству Иваномъ Карамазовымъ своего отца, и убійство Ставрогинымъ Хромоножки есть слѣдствіе гордыни и духовнаго безразличія. Но если въ случаѣ Ивана Карамазова смертоноснымъ оказалось добро, перекинувшееся въ зло, отвлеченное добро въ видѣ морального закона разума, презирающаго ближняго и его осуждающаго, — то Ставргинъ убиваетъ свою жену, какъ ирокъ, ни на что уже ненадѣющійся въ будущемъ и все же въ отчаяніи своемъ ожидающій хотя бы и невозможнаго чуда. Въ этомъ послѣднемъ своемъ преступленіи Ставргинъ представляется тѣмъ же чистымъ воплощеніемъ зла: его презрѣніе къ ближнему, уединеніе его души, ложь передъ самимъ собой и уныніе, переходящее въ отчаяніе, — всѣ эти смертоносныя силы его души проис текаютъ изъ одного и того же источника, будучи слѣдствіями безвѣрія сердца, какъ отпада отъ Бога.

Для того, кто понялъ истинный смыслъ ис-

повѣди Ставрогина, теряетъ всякое значеніе вопросъ, совершилъ ли дѣйствительно Ставрогинъ то преступленіе надъ дѣвочкой, которое въ ней описано. Вѣдь у него «было много воспоминаній, можетъ-быть, еще гораздо худшихъ передъ судомъ людей», и слѣдовательно достаточно основаній для исповѣди независимо отъ эпизода съ Матрещей. Совершенно неправильно также ставить въ зависимость отъ факта совершенія или несовершенія этого преступленія возможность спасенія Ставрогина. Вѣдь по глубокому убѣждѣнію Достоевскаго, мысли котораго въ данномъ случаѣ высказываются Тихонъ, даже самое страшное преступленіе будетъ прощено Христомъ — «если только достигнете того, что простите сами себѣ».*«О нѣть, нѣть, не вѣрьте, я хулу сказалъ: если не достигнете примиренія съ собою и прощенія себѣ, то и тогда Онъ проститъ за намѣреніе и страданіе ваше великое: ибо нѣть ни словъ, ни мыслей въ языкѣ человѣческомъ для выраженія всѣхъ путей и поводовъ Агнца, «дондѣ же пути Его вѣявъ не откроются намъ».* Кто обнимаетъ Его, необъятнаго, кто пойметъ *всего* безконечнаго». По Достоевскому, Богъ выше добра и зла, и эта основная идея отрицательного богословія высказывается въ данномъ случаѣ Тихономъ для того, чтобы показать Ставрогину возможный еще и для него путь спасенія *). Любовь

*) Поэтому совершенно неправильно предполагать, что «въ глазахъ Достоевского изнасилованіе ребенка есть преступленіе, для котораго нѣть прощенія, даже согласно высшему божественному порядку», какъ это утверждаетъ А. Долининъ (Щит. статья, стр. 305). Мысль о томъ, что божественная любовь, будучи безконечной, преодолѣваетъ самое противорѣчіе добра и зла, Достоевский развиваетъ подробнѣе въ «Братьяхъ Карамазовыхъ». О тѣсной связи между этой любимой мыслью Достоевскаго и «отрицательнымъ богословіемъ» см. кромѣ цитированной выше моей статьи, также статьи мои «О посмертныхъ запискахъ Достоевскаго» «Борьба утопіи и автономіи Добра въ міровоззрѣніи Достоевскаго и Вл. Соловьевъ» (Совр. Зап., кн. 39, 45-46). Эту же мысль положилъ въ основу своей замѣчательной книги «Назначеніе человѣка» (1932) Н. А. Бердяевъ, уже ранѣе близко подошедший къ ней въ своей работе «Міроззрѣніе Достоевскаго», Берлинъ, 1923.

Божія безконечна, і нѣтъ преступленія, которое она не могла бы искупить. Ставрогинъ обреченъ не потому, что онъ совершилъ преступленіе, которому якобы «нѣтъ прощенія», а потому, что совершенное отсутствіе въ немъ любви и невозможность для него преодолѣть то уединеніе, въ которое загнала его его гордость, отрѣзываютъ ему всякой путь къ Богу, какъ къ всепрощающей безконечной любви. Правда, Ставрогинъ мучится «сознаніемъ неисполненной «любви», и его разумъ толкаетъ его къ тому, чтобы теоретически принять существованіе Бога, однакожъ онъ не вѣритъ въ Бога своимъ сердцемъ, у него нѣтъ органа, чтобы почувствовать себя объединеннымъ со своимъ ближними и съ Богомъ въ любви, т. е. у него нѣтъ дѣйственной (практической) вѣры въ Бога, которая только и есть подлинная вѣра. Не чувствуя себя жизненно связаннымъ съ Богомъ, Ставрогинъ видить себя во власти дьявола. Онъ чувствуетъ живое присутствіе чорта, видить его воочію передъ собой, хотя разумъ его и толкаетъ ему его чорта какъ галлюцинацію. Такимъ образомъ отношение Ставрогина къ дьяволу прямо противоположно отношению къ Богу: съ чортомъ, реальность которого его разумъ отказывается признавать, онъ чувствуетъ себя связаннымъ всѣмъ своимъ существомъ; напротивъ, Бога онъ отрицаєтъ всѣмъ существомъ своимъ, хотя «сознаніе нейисполненной любви» заставляетъ его разумъ признавать существованіе Бога. Его отчаяніе и сознаніе обреченности есть ни что иное, какъ ощущеніе начала смерти, которому онъ подпалъ, разорвавши связь свою съ началомъ любви и жизни. Воскресеніе же души достигается, по Достоевскому, не «катехизисомъ новой вѣры» и даже не «внезапнымъ подъемомъ» или отдѣльнымъ «героическимъ подвигомъ», но чтобы воскреснуть душою, нужно «нѣчто болѣе трудное — серьезная

и долгая нравственная работа, упорство въ любви». Иначе «изъ ангельского дѣла выйдетъ дѣло дьявола».

Ставрогинъ знаетъ это такъ же хорошо какъ и Тихонъ, онъ знаетъ, что онъ «осужденъ», и потому вмѣсто того, чтобы надѣяться на божественную любовь, онъ бросается во всѣ стороны, ожидая чуда то отъ своей исповѣди, то отъ Лизиной любви, то отъ жалости къ нему Даши, — подобно игроку, послѣдняя надежда котораго лежитъ не въ немъ самомъ и не Богъ, а въ «поворотѣ колеса». Подобно тому, какъ подлинная, имѣющая источникомъ своимъ любовь, вѣра въ Бога есть жизнь, точно такъ же и вѣра въ дьявола, будучи слѣдствиемъ совершенного изсякновенія въ человѣкѣ любви, есть духовное разложеніе человѣка и его смерть. Поэтому-то и говоритъ Тихонъ, что совершенный атеистъ выше вѣрующаго въ дьявола безъ вѣры въ Бога, ибо вѣра въ дьявола безъ вѣры въ Бога есть безразличіе души и ея смерть. «Совершенный атеистъ, какъ хотите, а все-таки стоить на предпослѣдней, верхней ступени до совершенѣйшей вѣры (тамъ перешагнетъ ли ее, нѣть ли), а равнодушный никакой уже вѣры не имѣть, кромѣ дурного страха». Въ этомъ и состоить смыслъ словъ изъ откровенія Иоанна, которая Тихонъ читаетъ Ставрогину по его настоянію: «И Ангелу Лаодикійской церкви напиши: сіе глаголеть Аминь, свидѣтель вѣрный и истинный, начало созданія Божія: знаю твоя дѣла; ни холodenъ, ни горячъ. О, есть ли бы ты былъ холodenъ или горячъ. Но поелику ты теплъ, а не горячъ и не холodenъ, то изблюю тебя изъ усть моихъ. Ибо ты говоришь: я богатъ, разбогатѣль, и ни въ чемъ не имѣю нужды; а не знаешь, что ты жалокъ и бѣденъ, и нищъ, и слѣпъ, и нагъ....»

C. Гессенъ.

ЗАВѢТЬ СВ. КН. ВЛАДИМИРА

Мы только еще начинаемъ пристально вглядываться въ учительный образъ отца нашей націи по плоти и по духу, въ образъ св. кн. Владимира. Только начинаемъ разгадывать и постигать его святые завѣты. Всѣмъ извѣстныя черты его жизненнаго подвига вырисовываются предъ нами все съ большей грандіозностью и значительностью. Нужно еще много изучать умомъ и сердцемъ «Великаго кагана» нашего, равноапостольного Владимира, и не въ газетные столбцы, а въ томы должно вылиться это изученіе. Здѣсь и сейчасъ коснемся намекомъ только одной грани его земного служенія. Хочется къ уже извѣстному и многократно отмѣченому привлечь еще большее вниманіе, подчеркнуть еще болѣе глубокимъ рѣзцомъ.

Святой князь потрясъ сердца современниковъ и, что особенно знаменательно, сердца простого народа, своимъ щедрымъ гостепріимствомъ, своимъ нищелюбiemъ. Что это? Княжескій обычай баловать свою дружину, пережитокъ языческаго разгула, личная щедродательность, широкая русская натура? Можетъ всего есть понемножку. Но это не интересно, и не объясняетъ главнаго, какъ не интересны вообще убого-трезвяя, яко бы единственно научныя объясненія явленій духовныхъ. «Душевный человѣкъ не приемлетъ того, что есть отъ Духа Божія». Главное въ этомъ явленіи не отъ плоти и виѣшнихъ причинъ, а отъ Духа Божія, Который по драгоцѣннѣйшему для насть свидѣтельству преподобнаго Нестора чудеснымъ путемъ привель кн. Владимира къ св. купели. И, «отрясши въ ней слѣпоту душевную вкупѣ и телѣсную», св. Владимиrъ, по слову митрополита Иларіона, «возгорѣлся духомъ и возжелалъ сердцемъ быть христіаниномъ и обратить всю землю въ христіанство». Благодатно восхотѣль исполнить завѣты евангельскіе не по имени только, но на самомъ дѣлѣ. Всѣ свидѣтели, близкіе, почти современники св. князя, въ одинъ голосъ говорять о чёмъ то въ этомъ отношеніи совершенно необычайномъ, изъ ряда вонъ выходящемъ. Мнихъ Иаковъ и святость кн. Владимира не считаетъ нужнымъ доказывать отъ посмертныхъ чудесъ, — такъ она самоочевидна отъ его

необычайныхъ иныхъ дѣлъ: «отъ дѣлъ познати, а не отъ чудесъ».

Въ чемъ необычность дѣлъ св. Владимира? М. Иларіонъ такъ похваляется его: «Радуйся учитель нашъ и наставникъ благовѣрія! Ты былъ облечень правдой, препоясанъ крѣпостью, вѣнчанъ смысломъ и украшенъ милостыней, какъ гривной и утварью златой. Ибо ты, честная глава, былъ одеждой нагимъ, ты былъ питателемъ алчущихъ, былъ прохладой для жаждущихъ, ты былъ помощникомъ вдовицамъ, ты былъ успокоителемъ странниковъ, ты былъ покровомъ не имѣющимъ кровя, ты былъ заступникомъ обидимыхъ, обогатителемъ убогихъ». Слова эти могли бы показаться и просто похвальной риторикой, если бы не углублялись и не освѣщались другими данными. Характерно и тутъ поставленіе «милостыни» или филантропіи св. князя въ ряду его княжескихъ, а не просто личныхъ добродѣтелей: «правды и крѣпости». А филантропія уподобляется княжескимъ регаліямъ — гривнамъ и эмблемамъ, украшающимъ грудь властителя и выражющимъ идеальные задачи его служенія, по нынѣшнему — его правительственную программу. Дѣйствительно то, о чёмъ говорить лѣтопись, — не личная только благотворительность князя. Это соціальная помощь въ государственномъ масштабѣ. «Повелѣ», читаемъ въ лѣтописи: «всякому нищему и убогому приходить на дворъ княжъ и взимати всяку потребу — питье и яденье и отъ стотьницъ кунами» (т. е. изъ казначейства денежную пенсію). «Устрои же и се рекъ: «яко исмощніи и больніи не могутъ долѣсти двора моего» — повелѣ пристроiti кола и вскладище хлѣбы, мяса, рыбы, овоцъ разноличный, медъ въ бчелкахъ, а въ друтыль квасъ, возити по городу, въпрашающимъ, гдѣ больній и ниць, не могы ходити? Тѣмъ раздаваху на потребу». Чтобы не оставалось у насъ сомнѣнія, что эта княжеская филантропія не ограничивалась столицей или предѣлами дворцовыхъ имѣній, мнихъ Іаковъ, касаясь этого вопроса, опредѣленно поясняетъ, что св. Владимиръ установилъ это какъ систему рѣшительно во всемъ государствѣ до деревенскихъ захолустьевъ включительно. «Болѣ всего бяше милостыню творя князь Володимеръ: иже немощніи и старѣи не можаху дойти княжа двора и потребу взяти, то въ дворъ имъ посылаше; немощнымъ и старымъ всяку потребу блаженный князь Володимеръ даяще, И не могу сказать многія его милостыня; не токмо въ дому своему милостыню творяще, но и по всему граду, не въ Кіевѣ единомъ но и по всей землѣ Русской, и въ градѣхъ и въ селѣхъ, вездѣ милостыню творяще, нагія одѣвая, алчныя кормя и жадныя напаяя, странныя покоя милостію; нищая и сироты и вдовицы и слѣпые и хромыя и трудоватыя вся милуя и одѣвая и накормя и напаяя».

Исторические свидѣтели передаютъ съ восторженнымъ изумленіемъ не только о широтѣ этого опыта христіанского рѣшенія

соціального вопроса сверху, въ рамкахъ цѣлаго государства, волей христіанского монарха, но и о мотивахъ его, тоже потрясающихъ христіанскую мысль. Житія святихъ полны изумлениемъ предъ рѣшенiemъ духовныхъ героевъ — по одному только слышанію слова евангельского въ церкви все оставить, взять крестъ свой и пойти за Христомъ. Тоже сообщаетъ лѣтопись и о кн. Владимірѣ: «Бѣ бо любя словеса книжная; слышна бо единою евангелье чтомо: блажени милостивіи, яко ти помиловані будуть; и паки: продайте имѣнія ваша и дадите нищимъ; и паки... Си слышавъ, повелѣ всякому нищему и убогому» и т. д., что мы приводили уже выше. То же самое говорить и м. Иларіонъ, что св. князь «не до слышанія стави глаголанное, но дѣломъ сконча слышанное», т. е. не хотѣлъ слова евангелія оставлять просто для услажденія слуха, но рѣшилъ осуществить ихъ на дѣлѣ.

Можно себѣ представить, какъ долженъ быть поразить воображеніе языческого народа этотъ неслыханный опытъ — во всемъ государствѣ утолить всякую нужду! Какая пертурбация должна была произойти въ системѣ государственного хозяйства и финансовъ! Недаромъ преданіе и былина такъ запомнили щедроты ласковаго князя — Краснаго Солнышка». «Твоя бо щедроты и милостиныя», говорить м. Иларіонъ, «и нынѣ въ человѣцѣхъ поминаеми суть».

Тотъ же митрополитъ Иларіонъ сообщаетъ намъ, что св. Владиміръ, «часто собираясь съ новыми отцами, нашими епископами съ великимъ смиреніемъ совѣтовался съ ними, какъ установить законъ сей среди людей недавно познавшихъ Господа». Это не иначе можно понять, какъ совѣщанія съ іерархіей не по місіонерскимъ только вопросамъ, а скорѣе по вопросамъ проведенія въ жизнь всего государства. «закона» христіанского, какъ совѣщаніе о посильномъ осуществленіи царства Христова на землѣ. Смѣлость замысловъ св. князя въ этомъ направленіи подтверждается и лѣтописью. Проникаясь духомъ евангельскимъ, св. Владиміръ переживалъ въ своей совѣсти со всей силой нравственную антиномію государственной силы и личнаго всепрощенія. Онъ тяготился долгомъ меча казнящаго. И епископамъ приходилось успокаивать его чуткую совѣсть: «живяще же Володимеръ въ страсѣ Божіи, и умножиши разбоеве, и рѣша епископы Володимеру: се умножиша разбойницы, почто не казниши ихъ? Онъ же рече имъ: боюся грѣха. Они же рѣша ему: ты поставленъ еси отъ Бога на казнь злымъ, а добрымъ на милованье; достоить ти казнити разбойника, но со испытомъ. Володимеръ же, отвергъ виры, нача казнити разбойники».

Св. Владиміръ не впалъ въ сектанство и покорился мудрымъ совѣтамъ церкви, не признающей насильственного введенія

евангельскихъ нормъ въ жизнъ черезъ принудительный механизмъ государства. Не превратилъ въ мертвый законъ и своихъ широкихъ филантропическихъ мѣръ, подсказанныхъ ему лично его пламенной христіанской любовью. Онъ не создалъ карикатуры христіанского государства, но осуществлялъ въ его предѣлахъ заповѣди Христовы постольку, поскольку лично ему, облагодатствованному властителю, даны были дары Духа «вспоможенія, управлѣнія» (I Кор. 12, 28). Въ наслѣдство своимъ преемникамъ св. Владиміръ не оставилъ никакихъ радикально измѣненныхъ основныхъ законовъ, предоставляя имъ быть слугами Христовыми въ мѣру ихъ даровъ духовныхъ. И его святые сыновья Борисъ и Глѣбъ не были соціальными реформаторами, а скорѣе аскетами и молитвенниками, въ иномъ стилѣ исполнявшими завѣты Христовы.

Такимъ образомъ въ началѣ русского христіанства былъ моментъ исключительного порыва къ исполненію евангельского идеала, подобный порыву первобытной іерусалимской церкви къ самоотверженному общенію имущества. Аналогичные порывы у сектантовъ — монтанистовъ, павликіанъ, вальденсовъ, анабаптистовъ приводили къ извращеніямъ фанатизма и деспотіи, ибо выпадали изъ подъ руководства благодатной мудрости церкви и подчинялись человѣческому своеолію и гордынѣ. Не то было въ жизни первохристіанской общинѣ и въ дѣлѣ св. Владимира. Это были порывы, покорные волѣ Духа Святаго и въ мѣру подлинной свободной любви Христовой. И, какъ вѣяніе Св. Духа, эти чудесныя достижения приходили и проходили, подобно видѣніямъ и обѣтованіямъ царства Христова, не окаменѣвая въ фальшивомъ насилиующемъ законѣ. Въ первенствующей церкви была эпоха чрезвычайныхъ дарованій. И первоначальную исторію русской церкви озарилъ благодатный лучъ царства Христова, прошедшій черезъ великое сердце Владимира, Великаго не по титулу только, но и по благодатному «дару вспоможенія, управлѣнія», ему ниспосланному (I Кор. 12, 28). И св. князь не приткнулся на своемъ пути. За 1000 лѣтъ до Л. Толстого онъ отвѣтственно, сидя на княжемъ судилищѣ, пережилъ антиномію меча и принялъ въ сердце трагедію его по внушенію церкви. Такъ же точно за 1000 лѣтъ до новѣйшихъ соблазнителей хлѣбами св. Владиміръ сдѣлалъ все, что могъ для помощи меньшей братіи, какъ устроитель и реформаторъ государства, и не пролилъ рѣкъ крови и не заковалъ народъ во имя «равенства и братства» въ цѣпи рабства, подобно антихристіанскимъ «народолюбцамъ» нашихъ дней.

Въ наши дни апокалиптическихъ искушеній міра и русской массы властью, хлѣбами и чудесами техники предъ русской церковью во всей неотвратимости всталъ міровой соціальный вопросъ со всѣми его соблазнами. Креститель нашъ далъ намъ

примѣръ, какъ вести себя на этомъ труднѣйшемъ пути. Христіанскій народъ, христіанскіе дѣятели, христіанская власть прежде всего должны сдѣлать все возможное для проведенія во всѣ стороны жизни націи завѣтовъ любви евангельской, организовать дѣло христіанского братолюбія на уровнѣ современной намъ соціальной техники. Но народъ и власть могутъ праведно осуществлять это дѣло только въ мѣру данности любви Христовой въ сердцахъ самихъ творцовъ и исполнителей. Безъ этого духовнаго, благодатнаго основанія, одна механика добра превращается въ безсильное, фальшивое и злое дѣло. Христіанско соціальное дѣланіе можетъ быть только внутренне свободнымъ. Такъ сумѣль вести себя не частный одиночный христіанинъ, а государь всей земли русской. Его завѣтъ намъ: христіанизація общественной жизни не на путяхъ внутренняго насилия сектантства и виція насилия коммунизма, а на путяхъ церковнаго разумѣнія христіанской свободы.

Само собою разумѣется, что между примѣромъ св. Владимира и возможностью «подражанія» ему въ наше время лежитъ цѣлая бездна въ различіи эпохъ. Лишь наивные люди, ожидающіе реставраціи въ наши дни патріархальной теократіи, могутъ мечтать повторять буквально то, что уже неповторимо въ силу безвозвратности совершившейся исторической эволюціи. Вопросъ соціальной справедливости сейчасъ все равно рѣщается и будетъ рѣщаться независимо отъ церкви на началахъ права и экономической техники. Хронологически церковь опоздала въ этомъ дѣлѣ взять инициативу. Но она никогда не опаздываетъ внести въ гущу даже чужеродныхъ ей общественныхъ отношеній свой преображающій духъ, свой нравственный коррективъ внутренними путями: черезъ сердце вѣрующихъ участниковъ соціального строительства, будуть ли то отдѣльныя лица, или ихъ специальные сообщества, или уже существующіе органы церкви въ видѣ яерархіи, соборовъ и т. д. Это пути не закрыты ей ни при какомъ строѣ. Даже въ коммунистической тюрьмѣ всепроникающіе лучи любви Христовой непримѣтно для невѣрующихъ глазъ смягчаютъ жестокость животной борьбы за существование. Объ этомъ намъ много порасскажутъ новыя житія святыхъ, страждущихъ тамъ нашихъ братьевъ. Исполненіе завѣта нашего Крестнаго Отца — кн. Владимира лежитъ на отвѣтственности не только невѣроятнаго въ наше время теократического монарха, но на отвѣтственности всѣхъ нась, членовъ православной церкви, при всѣхъ имѣющихъ случиться политическихъ и соціальныхъ режимахъ. И при модныхъ нынѣ цезаризмахъ и при старомодной демократической республикѣ и при модномъ соціальномъ деспотизмѣ и при старомодной частно-хозяйственной инициативѣ мы въ своей общественно-политической впостаси не имѣемъ нравственного права забыть завѣтъ нашего первого

христіанского строителя земли русской. Мы обязаны mutatio
mutandis продолжать его въ новѣйшихъ формахъ христіанской
соціальной активности.

Русская земля, а съ нею и русская церковь не могутъ не
быть носителями «великой совѣсти». Нынѣшняя тиранія без-
совѣтности лишь временное наважденіе. Существующіе типы
рась и культуръ сложились еще въ доисторической тысячетѣтія
и до сихъ поръ остаются въ главномъ неизмѣнными. 15 лѣтъ
извращенческаго перевоспитанія не измѣнить духовной глуби-
ны русскаго генія. Онъ вспомнить праотца своей культуры,
человѣка великой совѣсти, св. кн. Владимира и возгорится же-
ланіемъ исполнить его завѣтъ.

A. K a r t a s h e vъ .

Парижъ 1 авг. 1932 г.

ВЪ ПОИСКАХЪ ПЕРВОНАЧАЛЬНАГО ЕВАНГЕЛЬСКАГО ПРЕДАНІЯ.

Въ продолженіе первыхъ трехъ четвертей XIX вѣка, каждый изъ важнѣйшихъ историковъ происхожденія христіанства стремился создать собственный образъ Іисуса, написать *свою* «жизнь Іисуса». Казалось, это громадное усиліе (*Leben Jesu Forschung*) закончилось нѣкотораго рода банкротствомъ и разочарованіемъ: признавали, что исторически Іисусъ недостижимъ, неуловимъ. Къ концу XIX и началу XX в. усиліе было перенесено на критику источниковъ, то есть евангельскихъ текстовъ. Тогда оставилъ въ сторонѣ четвертое Евангелие, рассматриваемое какъ нѣчто особое, — подняли и начали страстно обсуждать проблемы подлинности, даты и авторовъ трехъ остальныхъ евангелій («синоптическая проблема»): превосходство Марка передъ Лукою, и Матфеемъ; возсозданіе предполагаемаго источника Q (*Quelle*), который якобы являлся самимъ древнимъ источникомъ евангельскихъ писаній; существованіе Матфея по арамейски, перво-Марка, и пред. Луки, предшествующихъ нынѣ существующимъ текстамъ синоптическихъ Евангелій. Около 1905-6 года произошелъ переворотъ. Критика источниковъ интересовала меныше, все казалось сказаннымъ на эту тему, и заново обсуждалась личность Іисуса. Не то, чтобы слѣдовало писать Его біографію, какъ нѣкогда Штраусъ и Ренанъ, — но сопоставить Его жизнь съ нѣкоторыми новыми воззрѣніями. Это тотъ моментъ, когда «эсхатологи» (Іоаннъ Вейсь, Швейцеръ) объявили войну «Христу либерального протестантизма» (Ричль, Гарнакъ и др.), во имя возсозданія Іисуса религіознаго моралиста «царствія Божія внутри васъ», Іисуса глашатая конца міра и катастрофического царствія Божія. Въ это же время сравнительные историки, синкретисты, мифологи вели другое нападеніе подъ знакомъ религіозно-исторического метода (*religionsgeschichtliche methode*) и изученія

культта мистерій, готовые слѣдать изъ Иисуса чистаго представителя коллективной легенды на подобіе Атиса или Митры. Послѣ великой войны вѣтеръ повернуль еще разъ. Хотя теперь продолжаютъ еще спорить вокругъ личности Иисуса (вниманіе, вызванное книгами Кушу и Эйзлера тому доказательствомъ), но наиболѣе новыя и живыя работы въ настоящее время вдохновляются розысками источниковъ (1).

Эти поиски источниковъ глубоко отличаются оть прежней новозавѣтной критики. И сегодня, какъ двадцать лѣтъ назадъ, вопросъ заключался въ томъ, чтобы отыскать «первоначальное» евангельское преданіе; но для большинства историковъ и экзегетовъ слово «первоначальный» измѣнило смыслъ. Въ то время, какъ прежде искали письменный подлинникъ Евангелия, *Urewangelium* — нынче хотѣли бы добраться до устнаго первоевангелія. Вопросъ не въ томъ, чтобы опредѣлить авторовъ, даты, обстоятельства письменного запечатлѣнія преданія (какъ было въ «синоптической проблемѣ»), но въ томъ, чтобы прослѣдить развитіе, становленіе этого преданія — *das werden der Tradition* — но его письменного зафиксированія. Если мы предположимъ, что минимальный срокъ въ тридцать лѣтъ истекъ между смертью Иисуса и составленіемъ первого по датѣ изъ синоптическихъ Евангелій и, съ другой стороны, примемъ во вниманіе, что ни Маркъ, ни Лука не были зрителями описываемыхъ ими событий или по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ изъ этихъ событий, и что они вынуждены были частично использовать уже существующія свѣдѣнія, — тѣогда становится несомнѣннымъ, что устное преданіе, прочное въ главныхъ чертахъ и признанное авторитетнымъ въ перво-христіанской общинѣ, предшествовало писанію. Къ этому-то возсозданію устнаго преданія — отступая въ даль временъ — современная критика источниковъ подходитъ различными, но совпадающими путями.

Среди поисковъ этого типа основное мѣсто занимаетъ *formgeschichtliche Schule*. Изъ мастеровъ этой «морфологической-исторической» школы слѣдуетъ назвать М. Дибеліуса, Р. Бультмана, М. Альбертца, Г. Бертрама, К. Л. Шмидта. Для лучшаго проникновенія въ труды *formgeschichtliche Schule* стоило бы прочесть книгу Дибеліуса объ исторіи литературныхъ формъ Евангелія 2) и книгу Бультмана объ исторіи синоптической

1) Послѣдовательные этапы критики будуть болѣе подробно развиты въ трудѣ о Иисусѣ Назорѣ по историческимъ даннымъ, который появится въ ближайшее время, за тою же подписью, въ издательствѣ YMCA-PRESS

2) Dibelius. Die *formgeschichte des Evangeliums*, Tübingen, 1919.

традиції (1). Дібеліус опубліковав та же бібліографію роботь своєї группи до 1929 р. (2).

Formgeschichtliche Schule преслідує двойну ціль: одну, складаючу елементи форми і другу, що відноситься до історії. Съ одній сторони школа ця стремиться определити літературні форми, т. е. розбити на ізвѣстнія літературні категорії різноманітні куски або «единиці», із яких складені синоптична Євангелія. Съ іншої сторони она хочеть обозначити історію цих категорій, цих літературних жанрів і формулювати закони їх розвитку. Такий методъ, конечно, подразумеваетъ, що Євангелія розглядаються якъ мозаїка, якъ роздѣлимі компоненти, із якихъ можна зіткнути единиці, якъ би живуща незалежною жизнью. При такомъ пониманні, вопросъ щодо авторства отчасти утрачиває своє значення. Важни лише матеріали, розглядаємі въ отдельності. Допустимо, що ці матеріали сущестували до їхъ групировки, до письменного їхъ запечатлення і че въ дальнѣйшемъ черезъ нихъ можна дойти до первоначального, устного предання.

Розробка літературно-евангельськихъ формъ проводилась formgeschichtliche Schule детально і чрезвычайно систематично. Она відрізняється двома основними елементами: «рѣчи» і «рассказы». Рѣчи діляться на три види. Прежде всого «апофети», т. е. ізрѣчення представляючія єдинство смысла і включеннія въ краткое повѣствованіе, служащее історическою рамкою: напр., слова Іисуса въ случаѣ съ Закхеемъ или въ епизодѣ лепти бѣдной вдовы. Апофети бывають сапіенціальними (премудростными), апокаліптическими і пророческими. По іному признаку їхъ расщепляються на утвержденія, ободренія і відповідання. Інша група рѣчей состоить ізъ «законодательныхъ текстовъ», напр. слова Іисуса о соблюденії субботи. Третій класъ включає Ich-Worte, или утвержденія Іисуса о Немъ самому. Что касается рассказовъ, они включають двѣ группы: чудеса і легенди. Въ категорію легендъ входять всѣ елементы жизни Іисуса, не связанные ни съ чудесами, ни съ узкими історическими рамками апофети: напр. хрещеніе Іисуса, Его пребываніе въ пустынѣ, Его страданія і т. д. Ми приводимъ здѣсь лишь главныя черты класифікації формъ. Formgeschichtliche Schule продолжаетъ это расчлененіе поистинѣ до нѣкоего літературного атомізма.

1) Bultmann. Die Geschichte der synoptischen Tradition, въ Forsehungen zur Religion und Literatur des alten und neuen Testaments, новая серія, вып. 12, Goettingen 1921.

2) Dibelius. Zur Formgeschichte der Evangelien, въ Theologische Rundschau новая серія томъ I, 1929, стр. 185-216.

Недостаточно однако установить классификацію и номенклатуру редакціонныхъ евангельскихъ единицъ. Надо еще опредѣлить законы каждой изъ литературныхъ формъ въ отдельности, и затѣмъ сравнить эти отвлеченные сущности, эти идеальные формы съ дѣйствительно существующими — а изъ такого сравненія возникнутъ указанія о подлинности и значеніи конкретно рассматриваемыхъ единицъ. Возьмемъ для примѣра апокалиптическую апофегму. Прежде всего надо обозначить законы апокалиптической апофегмы вообще, въ состояніи отвлеченно-литературного типа. Затѣмъ — сопоставить выбранную нами апокалиптическую апофегму съ общимъ типомъ. Тогда можно представить три случая: или рассматриваемое частное изрѣченіе подходитъ характеромъ и стилемъ къ жанру, къ которому оно относится — тогда его объявляютъ «первичной формулой», «подлиннымъ преданіемъ». Или изучаемое изрѣченіе вполнѣ отступаетъ отъ общаго типа, — въ этомъ случаѣ его цѣликомъ отбрасываютъ. Наконецъ, если это изрѣченіе частично совпадаетъ и отчасти противорѣчитъ типу, тогда сходные аспекты оставляются, а противорѣчащія устраняютъ или замѣняютъ ихъ чертами характерными для чистаго типа и такимъ образомъ «возстановливаютъ подлинный текстъ». *Formgeschichtliche Schule* примѣняетъ этотъ методъ съ большою строгостью. Напримеръ рѣшено удалить изъ апофегмы всѣ подробности, которые безъ надобности отягчаютъ, — и въ число этихъ деталей зачтены географическія указанія. Остается спросить — почему?

Наиболѣе щепетильн ая задача это, конечно, опредѣленіе типовъ, ихъ сущности, изъ законовъ. *Formgeschichtliche Schule* опредѣляетъ литературныя формы Евангелія при помощи сравнительного метода, сопоставляя ихъ со схожими формами юдейской и классической литературы; къ этой разработкѣ примѣняются всѣ возможности филологии. Однако единицы эти нельзя разматривать въ неподвижности: въ нихъ есть извѣстная линія развитія, есть органические законы возникновенія и распространенія. *Formgeschichtliche Schule* прилагаетъ къ евангельскому преданію данныя, достигнутыя въ развитії эпической и лирической народной поэзіи (*Volksdichtung*). Она силится уточнить условія роста и измѣненія этихъ «сказаній», изрѣченій или разсказовъ. Замѣствуя выраженіе скандинавскаго фольклориста Акселя Олрика, впервые заговорившаго о біологии саги, *Biologie der Sage*, она пробуетъ установить «біологію» евангельского преданія. Исходя изъ этой литературно-біологической эволюціи, *formgeschichtliche Schule* приходитъ къ ѣздѣрѣнію, довольно близкому теоріямъ французской соціологической школы. (Дюрхеймъ, Леви-Брюль и др.). Она исповѣдуется, что измѣненіе литературныхъ составныхъ частей не является

результатомъ чьихъ-то личныхъ дѣйствій или противодѣйствій, но выражениемъ коллектива, который чувствуетъ, думаетъ и творить именно въ качествѣ коллектива. Исторія евангельского преданія есть не что иное, какъ отраженіе исторіи первохристіанской общины. Въ оцѣнкѣ текстовъ слѣдуетъ неизмѣнно считаться съ жизненнымъ ростомъ христіанской общины и ея — порою разрушительнымъ — дѣйствиемъ. Такъ, коллективъ, стремится въ своемъ литературномъ творчествѣ привести все къ наиболѣе подчеркнутому типу, — и христіанская община взвалила на фарисеевъ почти всю отвѣтственность за борьбу съ Іисусомъ, *Urevangelium* прежде всего и главнымъ образомъ есть состояніе души *Urgemeinde*, первичной общины. Если это такъ, можемъ-ли мы узнать еще хоть что-нибудь о Іисусѣ?

Мы касаемся здѣсь основного вопроса: что думаетъ *formgeschichtliche Schule* о Іисусѣ и его задачѣ? Въ этомъ пунктѣ два основные учителя этой школы, Дибеліусъ и Бультманъ — расходятся. Несходна даже самая манера ихъ подходить къ вопросу объ отношеніи между преданіемъ и первохристіанской общиной. Бультманъ, наиболѣе аналитической, прибѣгающей къ евангельскому материалу и черезъ него хочетъ постигнуть преданія общины. Дибеліусъ скорѣе строитель; онъ опирается на нравы и обычай общины, чтобы изъяснить евангельский материалъ. Въ томъ, что касается проблемы Іисуса, Дибеліусъ полагаетъ, что *formgeschichtliche Schule* должна ограничиться литературной разработкой почвы для историка, не высказываясь о личности Іисуса и о характерѣ его призванія. Бультманъ-же высказать рѣшается. По его мнѣнію, мы не можемъ достигнуть истинного исторического знанія о Іисусѣ, потому что евангельское преданіе есть въ сущности созданіе первоначальной общины; онъ безжалостно подчеркиваетъ свободу, съ которой община разрабатывала преданіе (*die Phantasie der Gemeinde und der Redaktoren...*) Значитъ-ли это, что все касающееся Іисуса — вымыселъ? Нѣтъ. Существуетъ даже критерій, позволяющій отличить вымыселъ отъ подлиннаго. Лишній разъ *formgeschichtliche Schule* дѣйствуетъ съ помощью сравненія существующихъ данныхъ и формального прототипа. Все, что отвѣчаетъ тенденціямъ общины должно быть рассматриваемо какъ вымыселъ; все, что соответствуетъ характеру Іисуса, уже ранѣе опредѣленному въ главныхъ чертахъ, почитается подлиннымъ. Пропорція этихъ подлинныхъ чертъ, какъ увѣряютъ, весьма слаба. Однако Бультманъ считаетъ, что располагаетъ достаточнымъ материаломъ для созданія нѣкоего образа Іисуса. Это образъ эсхатологического и нравственного пророка. Это пониманіе совпадаетъ съ «іерусалимскимъ содержаніемъ», не вполнѣ исчезнувшимъ изъ евангельской традиції, благодаря іудео-христіанамъ греческаго нарѣчія, но затемненнымъ впослѣдствіи образомъ «обожествлен-

наго человѣка», созданного Маркомъ, затѣмъ — рассказами о чудесахъ, на которые повліяло язычество и, наконецъ, «христологическимъ мифомъ» эллинскихъ павловыхъ церквей (1). — По количеству трудовъ и по ихъ распространенію, *formgeschichtliche Schule* первая останавливаетъ внимание. Но въ наше время это не единственная попытка найти преданіе болѣе древнее чѣмъ то, которое зафиксировали его составители. Слѣдуетъ указать, по этому поводу, недавніе труды, относящіеся къ *Style oral* (устному стилю).

Давно уже «параллелизмъ» еврейской поэзіи былъ предметомъ серьезнаго изученія. Систематическая повторенія, «параллели» мыслей и выражений (напр. въ псалмахъ) внушили идею о ритмическомъ построеніи Библіи: большая доля еврейскихъ священныхъ книгъ могла бы быть расположена по стихамъ и строкамъ, согласно опредѣленныхъ ритмовъ. (*Strophentheorie*). Эта теорія примѣняемая первоначально къ однимъ только поэтическимъ произведеніямъ Ветхаго Завѣта, была обобщена и перенесена и на историческія книги обоихъ Завѣтовъ. В. Шмидтъ опубликовалъ строфическое изданіе четырехъ Евангелій (2) Луази издалъ всѣ книги Нового Завѣта въ ритмической формѣ (3). Г. Ф. Бюрней особо изучалъ формально-поэтическій элементъ въ рѣчахъ Иисуса (4). Если представить себѣ еван-

1) Странное на первый взглядъ явленіе: Бультманъ откровенно примыкаетъ къ большому движению, вдохновителемъ которого является Карль Бартъ. Какимъ образомъ этотъ критикъ, чьи позиции въ вопросѣ о Иисусѣ являются, что называется «радикальными», можетъ примыкать къ доктринальмъ трансцендентнаго богословія, строгаго предопредѣленія, вполнѣйшаго возсозданія кальвинизма? Эта близость удивитъ меныше, если приглядѣться къ неясному характеру христологіи Барта. Въ ученіи, подчеркивающемъ непрходимую пропасть между Богомъ и человѣкомъ, трудно найти мѣсто Воплотившемуся. По Барту, Христосъ есть божественная вертикаль, ниспадающая на горизонтальный міръ исторіи: но кажется, что она прорѣзаетъ этотъ міръ, не проникая его. Богъ Барта, въ со самое время, когда онъ открывается въ Христѣ, остается Богомъ скрытымъ, *Deus absconditus*. Бартіанецъ простирается передъ Христомъ съ трепетомъ, но какъ бы на извѣстномъ разстояніи. А вѣдь Бультманъ заявляетъ, что въ личности Иисуса мы постигаемъ совершенно достаточно «таинственнаго», чтобы привести религіозное сознаніе въ состояніе напряженія и вызвать въ немъ толчокъ къ поклоненію. Это ужъ чистое бартіанство.

2) W. Schmidt. *Der strophische Aufbau des Gesamttexts der vier Evangelien*. Modling. 1921.

3) Loisy. *Les livres du nouveau Testament traduits du grec en franÃ§ais*. Paris, 1922.

4) G. F. Burney, *The poetry of our Lord. An examination of the formal elements of the Hebrew poetry in the Discourses of Jesus Christ*, Oxford 1921.

гельскій текстъ, какъ текстъ ритмической, какъ своего рода поэму, естественно думать, что составители записали уже прежде существующій речитативъ. Евангелія оказались бы произведеніями не письменного, а устнаго стиля, *style oral*. Единицы *style oral* суть *geste propositionnel* (1), сочетаніе словъ, произносимыхъ за однимъ дыханіемъ и приблизительно соотвѣтствующихъ свободному стиху. Эти составныя единицы рѣчи, каждая изъ которыхъ имѣть законченный смыслъ, связаны между собою, какъ скрѣпами, «словами-аграфами»; повторяясь, онѣ охраняютъ передаваемое содержаніе и облегчаютъ работу памяти. Это — характерныя черты всѣхъ созданій *style oral*. Жусъ, опираясь на данныя фонетики, экспериментальной психологіи и наблюденія надъ первобытными племенами, у которыхъ *style oral* пока что замѣняетъ письменность, установилъ главные законы *style oral* (2) и высказалъ слѣдующее положеніе: до письменныхъ трудовъ синоптиковъ, *Urewanglum* — катехизисъ перво-христіанской общины, существовало въ видѣ ритмическаго речитатива и было «читаемо наизусть», подобно поэмамъ Гомера или *chansons de geste*.

Жусъ дѣлаетъ изъ этого утвержденія выводы чрезвычайной важности. Ритмъ есть охранитель преданія. Несомнѣнно, что «чтеніе наизусть» въ древности и средневѣковыи оставляло извѣстное мѣсто и для импровизаціи. Но основное въ речитативѣ являлось неизмѣннымъ ядромъ, обезпеченнымъ отъ уклоненій рамками ритма. Возможно, слѣдовательно, что евангельскіе тексты воспроизводятъ, во всей ея подлинной чистотѣ, преданіе первой общины. Болѣе того: возможно — какъ возмутило бы экзегетовъ всего четверть вѣка назадъ такое утвержденіе! — что мы находимся передъ собственными словами Христа. Теоріи *style oral* приводятъ насъ къ наиболѣе «ортодоксальнымъ» положеніямъ, наиболѣе консервативнымъ. Это и не удивительно, когда знаешь, что многіе изъ послѣдователей этой теоріи принадлежать къ римской церкви.

Правда, первичное преданіе и евангельское преданіе, окристализовавшееся къ нашему времени раздѣлены лингвистической перегородкой. Первоначальное преданіе распространялось на арамейскомъ языке; тексты Евангелій записаны по гречески. Отмѣтимъ замѣчательныя современныя научныя усиленія, стремящіяся установить связь между *Urewangelium* арамейскимъ и нашими греческими переводами. Г. Дальманъ поставилъ

1) Лучше не переводить это выраженіе, значеніе котораго мы надѣемся, ясно изъ текста.

2) Tousse. *Le style oral et sa place technique chez les verbo-moteurs. Etude de psychologie linguistique*, Paris 1925.

своей задачей, особенно въ своихъ книгахъ die Worte Jesu и Jesus-Jeschua возсоздать арамейскій подлинникъ рѣчей Иисуса(1). Вслѣдъ за нимъ, многіе экзегеты уже не мыслятъ возможности изучать греческій текстъ Евангелій безъ того, чтобы не освѣтить его, почти на каждомъ словѣ, ссылками на языкъ Христа и Его учениковъ.

Всѣ эти усилия вдохновляются общимъ желаніемъ найти самое древнее преданіе. Конечно, и у однихъ, и у другихъ много — слишкомъ много — апріорныхъ рѣшеній, произвола, гипотезъ, поспѣшныхъ обобщеній. Эти попытки цѣнны не столько своими достижениями, сколько ихъ направленіемъ. Съ 1920 по 1932 годъ для критики открылись новые пути, были поставлены новыя и значительныя проблемы. Позволительно думать, что углубленіе этихъ вопросовъ не окажется безплоднымъ, и что поиски Urewangelium выведутъ насъ за предѣлы мертвой буквы, приблизятъ насъ къ живому слову Иисуса.

Iеромонахъ Левъ (Жилле).

Переведено съ французского Н. Гродецкой.

1) См. замѣтку въ которой Бальманъ говорить о себѣ въ сборнике Die Religionswissenschaft der Gegenwart, опубликованномъ подъ редакціей Erich Stande, Leipzig 1918.

НОВЫЯ КНИГИ.

Comte Hermann de Keyserling. *Meditations sud-américains*. 1932. Librairie Stock.

Блестящая книга, вѣроятно, лучшая изъ книгъ гр. Кейзерлинга. Она читается съ захватывающимъ интересомъ, какъ философскій романъ. По характеру своему она отличается отъ книги Кейзерлинга «Das Spectrum Europas». Это — цѣлая космогонія, видѣніе приморидіального міра, истоковъ человѣчества. Видѣніе это Кейзерлингъ имѣлъ въ Южной Америкѣ. И во всякомъ случаѣ книга эта — цѣнныій вкладъ въ эмоціональную психологію. Для Кейзерлинга міры зависятъ отъ воображенія. Все создается образами. Познаніе не есть познаніе черезъ понятія, ему чужда діалектика. Познаніе его художественно-интуитивное. Онъ справедливо видѣть въ эмоції способъ познанія. Источникъ интуїцій и знаній Кейзерлинга, совсѣмъ не книжный. Его нельзя причислить ни къ какому направленію или школѣ. Онъ очень свободный человѣкъ, свободный отъ всякаго доктрина, религіознаго, философскаго, научнаго, моральнаго, соціальнаго. Быть можетъ отъ соціального доктрина менѣе свободенъ, такъ какъ въ немъ очень чувствуется связь съ аристократіей. Кейзерлингъ принадлежитъ къ людямъ, испытавшимъ отвращеніе къ современной цивилизациі Европы и Сѣверной Америки, онъ хочетъ убѣжденъ, что Россія и Азія идутъ по тому же пути американізации, рационализации и технізации. Это бѣгство изъ современного міра можетъ происходить во времени и въ пространствѣ. Романтики убѣгали въ средневѣковые, Ницше въ древнюю, досократовскую Грецію. Кейзерлингъ двигается въ пространствѣ, онъ бѣжитъ въ Южную Америку и тамъ открываетъ первобытный міръ и его своеобразную красоту. У Кейзерлинга есть большее вниманіе къ космической жизни и къ міру животному въ его философскомъ значеніи. И, конечно, есть огромный даръ наблюдательности надъ народами и цивилизациями,

въ этомъ онъ сейчасъ не имѣеть себѣ равнаго. Онъ раскрываетъ множественность человѣческихъ типовъ въ противоположность единству и универсальности человѣческой природы, которыми такъ дорожитъ европейскій гуманизмъ. Основная установка Кейзерлинга натуралистическая, но въ утонченномъ смыслѣ слова. И это несмотря на то, что онъ постоянно говорить о духѣ. Наиболѣе силенъ онъ, какъ психологъ, а не какъ метафизикъ. Основа философіи Кейзерлинга есть противоположеніе духа и земли. Духъ по существу отличается отъ природы, но онъ прорывается въ жизнь природы и спиритуализуетъ ее. Остается вѣчный конфліктъ природы и духа. Послѣдняя метафизическая проблема основы и смысла міра не решается и даже не ставится. У Кейзерлинга нельзя искать онтологіи. Сила его въ другомъ. Кейзерлингъ даже сомнѣвается въ абсолютной цѣнности исканія истины. Онъ думаетъ, что тѣ которые ищутъ истины, не любятъ красоты. Культъ истины — отъ грубости, культъ красоты — отъ лжи. Но онъ все же принужденъ считать истиной то, что ему открылось, свою космогонію, свое пониманіе начала исторіи. Южная Америка лишь поводъ для раскрытия истоковъ человѣка, начала исторіи. Южная Америка — *Magna Mater*. Южно-американскій міръ называется третьимъ днемъ творенія. Такъ и называется самая блестящая глава. Книга Кейзерлинга очень интимная, его философія совершенно субъективная, личная. Поразительно его отношеніе къ Южной Америкѣ и южно-американцамъ. И многое производить впечатлѣніе разительного противорѣчія. Съ одной стороны онъ плѣненъ Южной Америкой, какъ прекрасной женщиной, и ищетъ въ ней спасенія отъ европейско-американской рационализаціи и технізациіи жизни, уповаешь на южно-американскій ренессансъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ открытия, которыя онъ дѣлаетъ на южно-американской почвѣ, страшны и мрачны. Онъ проводить насъ черезъ дантовскіе круги ада. Для Кейзерлинга въ началѣ былъ адъ, а не рай, и онъ убѣдился въ этомъ, наблюдая надъ природой Южной Америки и надъ ея людьми, аргентинцами, бразильцами и др. Первоначально была женщина, а не мужчина. Но женщина эта змія, кровь ея холодна, она лжива. Женщина — комедіантка. Первобытная почва холодна, первобытныя существа принадлежать къ породѣ хладнокровныхъ. Первична *sencibilité* и она связана съ хладнотью. Нижняя бездна, изъ которой все возникло, инфернальна. Первобытный человѣкъ не дитя, а инфернальное существо. Зло и уродство — корни жизни, добро и красота лишь цвѣты. Въ началѣ былъ страхъ и голодъ, страхъ передъ природой и страхъ передъ духомъ. Зло есть порожденіе страха. Кейзерлингъ открываетъ темныя *bas-fond* и онѣ остаются для него господствующими. Основнымъ своимъ открытиемъ въ почвѣ Южной Америкѣ Кейзерлингъ считаетъ открытие

ті земли, только тамъ она ему открылась. Кровь и земля опредѣляютъ исторію. Исторической судьбой управляютъ не духовные, а теллурические люди. Глубина души не въ духѣ, а въ землѣ. Кейзерлингъ создаетъ основныя психологическія категоріи Gana и Delicadeza, взятыя изъ языка южно-американцевъ. Gana есть первичный душевной слой, противоположный духу. Кейзерлингъ ъездилъ въ Азію, знаетъ индуза и китайца. Но и индусъ и китаецъ представляются ему такимъ же человѣкомъ, какъ и онъ самъ, они живутъ духомъ. Въ южно-американцѣ онъ впервые встрѣтилъ человѣка противоположнаго себѣ, человѣка теллурического, опредѣляющагося исключительно землей, а не духомъ. Земля есть особая категорія мышленія Кейзерлинга въ этой книгѣ и она, конечно, имѣетъ иную глубину чѣмъ та, которая открывается геологомъ и естествоиспытателемъ. Тутъ его можно сопоставлять съ Бахофеномъ. Интересно сравнить чувство земли, которое открывается Кейзерлингу въ Южной Америкѣ, съ тѣмъ, которое свойственно Россіи и русскому народу. Русскому народу всегда была свойственна теллурическая мистика, мистическая связь съ землей. Но земля въ сознаніи русского народа совсѣмъ не есть эти темныя и жуткія bas-fonds, не есть царство змѣй и пресмыкающихся, не есть тотъ ужасъ, который открывается въ дѣственныхъ лѣсахъ Аргентины и Бразиліи. Земля пронизана духомъ, она есть мать заступница и кормилица, она незамѣтно сливаются съ образомъ Божьей Матери. Но русская земля не есть истоки міра и человѣка, не есть примордіальная земля. То, что Кейзерлингъ видѣтъ въ Южной Америкѣ, болѣе первично и изначально. Натурализмъ Кейзерлинга сказывается въ переоцѣнкѣ значенія крови. Такое преувеличеніе значенія крови насчетъ духа можетъ дать оправданіе идеологіи расизма и аристократизма. Но очень хорошо говорить Кейзерлингъ объ инфернальности всякой политики. Если всякая политика есть зло, то самое большее зло есть духовное оправданіе политики. Человѣкъ превращается въ демона, когда духовное сознаніе оправдываетъ то, что не есть духъ. Кейзерлингъ повидимому очень дорожитъ этимъ дуализмомъ духа и земли, духа и политики, этой несоединимостью духа и плоти. Онъ утверждаетъ противоположность права и справедливости. Онъ оправдываетъ материализмъ массы нашей эпохи, видя въ немъ исканіе обезпеченія. Революція есть возстаніе противъ рока, противъ судьбы. Но Кейзерлингъ забываетъ прибавить, что она сама есть рокъ для тѣхъ, противъ кого она направлена. Какъ и всегда у Кейзерлинга, повсюду разсыпаны очень тонкія замѣчанія по психологіи политики. Но эта сторона книги мнѣ не представляется самой существенной и самой сильной.

Кейзерлингъ отталкивается отъ уродства, которое онъ

видить въ современной жизни, онъ видитъ его въ Съверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ и въ совѣтской Россіи, оно побѣждаетъ и въ современной Европѣ. Это уродство технической эпохи, оно связано прежде всего съ раціонализацией и технізацией, съ разрушеніемъ эмоциональной жизни. Только возстановленіе эмоциональной жизни можетъ возвратить красоту. Эмоциональная культура для него существуетъ только въ Испаніи и Южной Америкѣ. И онъ пророчетъ великую миссію Южной Америкѣ, отъ нея долженъ пойти ренессансъ. Тутъ мы встрѣчаемся съ указаннымъ уже основнымъ противорѣчіемъ въ книгѣ Кейзерлинга. Bas-fonds раскрывающіяся въ Южной Америкѣ — темныя и злыя, чуждыя духу. И новый эмоциональный порядокъ, который спасетъ отъ уродства раціонализации и технізациі, пойдетъ отъ этихъ bas-fonds. Смыслъ жизни Кейзерлингъ видить въ спиритуализації. А ренессансъ долженъ прійти отъ міра не только не спиритуализованного, но по-видимому и неспособного къ спиритуализації. Недостаточно ясно, почему эмоциональная сфера сама по себѣ способна создать новое общеніе людей. Вся космогонія Кейзерлинга основана на томъ, что свѣтъ рождается изъ тьмы. Это мысль родственная Шеллингу. И, конечно, это вѣрно. Но bas-fond, раскрывающіяся въ Южной Америкѣ, не есть только тьма, онъ инфернальныя, злыя, это міръ падшій. Наименѣе выясненнымъ остается, что такое духъ, который долженъ всему дать смыслъ. (1) Книга написана о землѣ, а не о духѣ, и самое интересное въ ней о землѣ. Очень остроумна мысль Кейзерлинга, что духовное появляется въ образѣ актера. Первоначальная проявленія духовности связаны съ игрой, съ переодѣваніемъ, съ секретомъ. Съ точки зрѣнія земли человѣческій духъ не серіозенъ. Отвѣтъ, который даетъ духъ на печаль и несчастье земли, какъ будто не импонируетъ. Кейзерлингъ совсѣмъ не хочетъ этимъ унизить духъ, скорѣе наоборотъ. Но такъ получается потому, что въ книгѣ не раскрывается тайна креста, какъ пересѣченія духа и земли. Духъ нисходящій въ землю распинается и это крестное страданіе серіозно уже и съ точки зрѣнія земли. Кейзерлингъ думаетъ, что смерть не есть проблема духа, что для духа смерти не существуетъ, смерть существуетъ лишь для земли. Но такъ можно думать, совершенно раздѣляя духъ и землю. Духъ вошедший въ землю, воплотившійся переживаетъ трагедію смерти, для него существуетъ трагедія смерти. Въ стремленіи Кейзерлинга возстановить эмоциональную жизнь есть большая правда. Сейчасъ происходитъ разрушение центрального органа

1) Въ прежнихъ книгахъ Кейзерлинга чувствовалось вліяніе пониманіе духа въ индусской религіозной философіи. Въ этой книгѣ онъ какъ будто отходитъ отъ индусской духовности, но не вполнѣ.

человѣка — сердца. Это явственно видно въ современномъ романѣ. Остается интеллигентуальная жизнь и жизнь чувственная, *sensation*, но нѣтъ жизни эмоционально-сердечной. Ея нѣтъ у Пруста, у А. Жида. Это огромное различіе съ XIX в. Но какъ понять отношеніе эмоциональной жизни и духа? Это основной вопросъ. Для Кейзерлинга эмоциональная жизнь вкоренена въ *bas-fond*, а не въ духѣ, она отъ земли, отъ ея темныхъ нѣдръ. Что-то тутъ остается неяснымъ и нерѣшеннымъ, можетъ быть для Кейзерлинга и неразрѣшимымъ. Это связано съ тѣмъ, что проблема Бога совсѣмъ не ставится и остается неизвѣстнымъ, имѣеть ли міръ смыслъ. Кейзерлингъ признаетъ феноменъ вѣры. Но для него важна сама вѣра, вѣра безъ гарантій, а не объектъ вѣры. Книга, очень мрачная и пессимистическая въ началѣ, кончается мажорными тонами, она хочетъ привести къ радости. Въ ней есть что-то освобождающее. Но откуда познаніе Кейзерлинга, возвышающее его надъ инфернальнымъ мракомъ и ужасомъ? Откуда вѣра въ возможность радости? Тутъ мы переходимъ за предѣлы этой блестящей книги.

Николай Бердяевъ

Н. А. Сетницкий. О конечномъ идеалѣ. 1932 г.

Книга издана въ Харбинѣ, гдѣ начали переиздавать «Философію общаго дѣла» Н. О. Федорова и гдѣ печатались произведения єедоровцевъ. Изъ єедоровской литературы книга Н. А. Сетницкаго быть можетъ наиболѣе интересная и значительная. Въ ней есть сосредоточенность и цѣльность. Поразительна судьба Н. Федорова. Долгое время на него совсѣмъ не обращали вниманія, его не знали и не цѣнили. Лѣтъ двадцать тому назаль появилось, кажется, двѣ всего статьи, въ томъ числѣ моя, въ которыхъ была дана очень высокая оцѣнка Н. Федорову. Теперь уже существуетъ цѣлое єедоровское теченіе, Н. Федоровъ оказался соотвѣтствующимъ какимъ-то запросамъ эпохи. Но Н. Федоровъ сталъ популяренъ не въ эмиграціи, онъ популяренъ въ совѣтской Россіи и на Дальнемъ Востокѣ. Н. Сетницкій — одинъ изъ главныхъ представителей этого теченія и по немъ можно судить о томъ, какъ преломились єедоровскія идеи въ новую эпоху, въ эпоху совѣтскую и техническую по преимуществу. У. Н. Сетницкаго ослаблены элементы религіозно-традиціоналистическая, народническо-славянофильские и патріархально-родовые, которые сильны были у самого Н. Федорова. Книга Н. Сетницкаго, конечно, мало общаго имѣеть съ идеологіей материалистического коммунизма и даже борется съ ней, не называя ее по имени, но въ ней есть что-то совѣтское, очень современное, есть крайній актуализмъ, соціальность, исключительная обращен-

ность къ будущему. Въ дѣятельности Госплана Н. Сетницкій готовъ видѣть шаги къ осуществленію «проекта» Н. Федорова. Внутренно я вижу большое отличие отъ Н. Федорова. Паѳось Н. Федорова былъ прежде всего связанъ съ отношеніемъ къ умершимъ отцамъ, съ сыновней обязанностью ихъ воскресенія. Паѳось Н. Сетницкаго есть прежде всего паѳось строительства и регуляції мірового хаоса, онъ обращенъ болѣе къ будущему, къ сыновьямъ, чѣмъ къ прошлому, къ отцамъ. Вся книга проникнута вѣрой въ могущество человѣка, въ его активное призваніе къ устроенію міровой жизни. Это положительная сторона книги. Чувствуются иногда остатки славянофильскихъ предразсудковъ по отношенію къ западному христіанству. Но родовой натурализмъ въ значительной степени преодолѣвается. Книга въ большей своей части есть опытъ толкованія апокалипсиса. Это толкованіе такъ же произвольно и условно, какъ и всѣ толкованія апокалипсиса. Но многое заслуживаетъ тутъ принципіального сочувствія. Н. Сетницкій очень вѣрно устанавливаетъ отличие пророчества отъ предсказанія. Пророчество не есть предсказаніе неотвратимаго, детерминированаго, фатального будущаго. Пророчество есть всегда также призывъ къ активному созиданію будущаго, раскрытие путей, по которымъ долженъ идти человѣкъ. Вслѣдъ за Н. Федоровымъ Н. Сетницкій даетъ актуальное истолкованіе апокалипсиса, онъ рѣшительно противостоитъ тому пассивному пониманію апокалипсиса, которое преобладало, которое было у Вл. Соловьева и которое отражало упадочныя, идеализирующія смерть настроенія. Соціальную активность христіанства Н. Сетницкій пытается обосновать не на Евангеліи, а на Апокалипсисѣ. Апокалипсисъ получаетъ совершенно соціальное истолкованіе, его символика оказывается соціологической. Н. Сетницкій всегда и во всемъ возстаетъ противъ мистики, какъ противъ источника пассивности человѣка. Онъ проникнуть оптимистической вѣрой въ разумъ, въ организацію, въ науку и технику, въ преодолимость всего ирраціонального и темнаго. Конечный идеалъ для него вполнѣ осуществимъ. Основной вопросъ, который долженъ быть поставленъ Н. Сетницкому, какъ и самому Н. Федорову, это вопросъ о злѣ. Непонятно, откуда взялось зло, въ чемъ источникъ его силы въ міровой жизни? Для Н. Сетницкаго зло есть не что иное, какъ хаотическая, ирраціональная, стихійная силы природы. Но откуда эта хаотичность и ирраціональность природы? Трудно предположить, чтобы для Н. Сетницкаго возможно было эволюціонное объясненіе зла. Поразительно, что онъ совсѣмъ отказывается видѣть въ природѣ и ладъ, красоту, отображеніе божественной премудрости, природа для него исключительно объектъ регуляції, организації, раціонализациі, къ ней возможно лишь активное

отношениі, но совершенно невозможно отношениі созерцательное. Въ этомъ міросозерцаніи совсѣмъ нѣтъ космології, проблема природы есть лишь проблема техники. Но сила техники въ тоже время есть проблема космогоническая. Еще болѣе важно отсутствіе у Н. Сетницкаго, какъ и вообще у Федоровскаго направленія, сколько-нибудь выработанной антропології, философскаго и религіознаго ученія о человѣкѣ, которое оправдывало бы такую вѣру въ активность и могущество человѣка. Нѣть ученія о личности. Остается неяснымъ, какъ и почему человѣкъ со всѣхъ сторонъ окруженный темной, хаотической и ирраціональной природой, которая есть и внутри его самаго, въ силахъ побѣдить эту тьму, хаотичность и ирраціональность. Почему разумъ человѣка можетъ побѣдить ирраціональность міровой жизни? Въ это вѣрятъ и марксисты-ленинисты, но потому только, что они вносятъ гегелевскій панлогизмъ въ матерію, приписываютъ матеріи имманентный логосъ. Отъ отвѣта на основной вопросъ о злѣ, объ ирраціональности міра и объ источникахъ силы человѣка зависитъ самое главное для федоровскаго настроенія— побѣда надъ смертью активностью человѣка. Самъ я увѣренъ въ томъ, что побѣда надъ смертью невозможна безъ соучастія человѣка, безъ активности человѣка, что это дѣло бого-человѣческое. Но по нѣкоторымъ мѣстамъ книга Н. Сетницкаго можно заключить, что для него Христосъ только показалъ примѣръ воскресенія, побѣды надъ смертью, за которымъ должны послѣдовать другіе люди. Сводить къ этому христіанскую мистерію значитъ отрицать тайну креста и распятія, тайну Голгоѳы. Христосъ смертью смерть попралъ, онъ побѣдилъ смерть вольнымъ ея принятіемъ и воскресеніемъ. Поэтому христіанству свойственно двойное отношениіе къ смерти. Но Н. Сетницкій повидимому не хочетъ никакихъ тайнъ и мистерій. Побѣда надъ смертью превращается прежде всего въ техническую (въ широкомъ смыслѣ) проблему. Въ книгѣ недостаточно говорится о двойственности техники и объ обостреніи техникой вопроса о духовномъ устроеніи человѣка. Мы знаемъ, какъ отстала техника медицинская отъ техники истребленія. Типъ міросозерцанія представленного Н. Сетницкимъ есть типъ соціологическаго міросозерцанія, въ немъ соціология преобладаетъ надъ антропологіей и космологіей. И все-таки книга «О конечномъ идеалѣ» представляется мнѣ интересной по своей проблематикѣ, она есть шагъ впередъ въ христіанскомъ ученіи объ активномъ призваніи человѣка.

Николай Бердяевъ.

Читатели «Пути», слѣдящіе за «экуменическимъ» движениемъ нашего времени, хорошо знаютъ этотъ журналъ бельгійской конгрегаціи бенедиктинцевъ, которая занимаетъ особое мѣсто среди уніональныхъ католическихъ предпріятій. Амейцы вышли на свое служеніе, семь лѣтъ назадъ, съ совершенно новыми взглядами на работу для соединенія церквей. Не борьба, а миръ, не индивидуальный «обращенія», а сближеніе исповѣданій, подготовленное взаимнымъ пониманіемъ. «Ирениконъ» былъ скорѣе органомъ изученія восточного православія (преимущественно православія), чѣмъ его «возсоединенія». Намъ извѣстно, что за смѣлость и искренность своего подлинно христіанского почина бенедиктинцы Амѣ заплатили дорого. Они подверглись церковнымъ цензурамъ и должны были допустить перемѣны въ управлѣніи своей общины и составѣ редакціи. Мы, russkie за рубежомъ, пользуясь почти абсолютной свободой въ экуменической работѣ, для которыхъ сближеніе съ инославными не стоитъ намъ никакихъ жертвъ, — мы должны съ особымъ уваженіемъ и признательностью отнести къ иреническому служенію бельгійскихъ бенедиктинцевъ.

Какъ отразились редакціонныя перемѣны и іерархическое давленіе на духъ и направленіе журнала? Этотъ вопросъ прежде всего задаешьъ себѣ, перчитывая томы послѣднихъ годовъ. Первое впечатлѣніе благопріятно. Попрежнему никакой полемики, серьезное, углубленное вниманіе къ восточному христіанству и даже сочувствіе къ нему. Однако есть и кое-что новое. Мы не находимъ прежняго отмежеванія отъ дѣла римскіхъ «уніонистовъ». Мѣстами проглядываетъ безоговорочное признаніе «унії» въ формѣ католичества восточного обряда. «Ирениконъ» какъ бы становится въ ряды уніатовъ, — правда, чуждаясь всякой агрессивности и сохраняя душъ любви. Но признаніе цѣнности уніатской работы, вносящей расколъ въ тѣло православныхъ церквей, сразу мѣняетъ въ нашихъ глазахъ значеніе всего дѣла сближенія. Чѣмъ серьезнѣе и глубже оно ведется, тѣмъ опаснѣе оно, поскольку становится изъ цѣли средствомъ, оружиемъ духовнаго завоеванія. Я не хочу сказать, что предполагаю большую перемѣну во взглядахъ работниковъ Амѣ на свое служеніе. Вѣроятно, современный курсъ журнала есть результатъ тяжелаго компромисса, навязанного извѣнѣ. Все же, при полномъ сочувствіи къ дѣятелямъ «Иреникона», признаюсь, православному читателю тяжело слѣдить въ немъ, на протяженіи цѣлаго года, за настоящимъ курсомъ К. Короловскаго по руководству уніатской работой.

По внѣшнимъ или внутреннимъ мотивамъ число оригиналь-

ныхъ статей «Иреникона», особенно принципіального характера, сильно сократилось. Много места удѣлено переводамъ. Изъ древнихъ авторовъ отмѣтимъ трактать Николая Кавасилы, житія святыхъ аѳонитовъ (можно оспаривать удачность этого выбора), изъ новѣйшихъ — статьи Вл. Соловьева, прот. Сергія Булгакова, проф. В. Н. Ильина. Характерно, что даже оцѣнка философіи Н. А. Бердяева дана въ переводѣ съ нѣмецкаго. «Ирениконъ», повидимому, сознательно видѣть теперь свою главную задачу въ информації.

Отдадимъ ему должное. Информація эта, поскольку рѣчь идетъ о православной хроникѣ, поставлена блестяще. Въ отличіе отъ большинства западныхъ журналовъ, посвященныхъ христіанскому Востоку, «Echos d'Orient» или «Christian East», «Ирениконъ» поставилъ въ центрѣ своего вниманія русскую Церковь. Не обладая какими-либо собственными источниками освѣдомленія, онъ съ исчерпывающей полнотой используетъ всѣ печатные документы, выходящіе въ Россіи и за границей. Для насъ русскихъ въ каждомъ N-ѣ найдется что-нибудь новое и важное о церковной жизни въ Россіи и въ эмиграції. Нельзя не оцѣнить объективности журнала въ изображеніи нашихъ внутреннихъ конфликтовъ и расколовъ. Чувствуется, что эта объективность проистекаетъ не изъ холодности сторонняго наблюдателя, но изъ признанія трагической тяжести русской церковной проблемы.

Бібліографія «Иреникона», быть-можетъ, грѣшить чрезмѣрной широтой, вводя въ свой кругъ книги, весьма далекія отъ темы единенія церквей. Что касается русскихъ церковныхъ журналовъ, то положительно каждая статья, самая скромная, находитъ себѣ изложеніе, иногда оцѣнку. Писатели нашего студенческаго «Вѣстника» и епархіальныхъ газетъ, навѣрное, удивились бы, увидѣвъ себя на міровой сценѣ. Странное испытываешь впечатлѣніе: точно мы, русскіе, находимся въ фокусѣ увеличительного стекла. Каждое слово, каждый жестъ регистрируется для друзей — и враговъ. Какую это создаетъ ответственность!

Въ заключеніе одна фактическая поправка. Въ т. VII N 1 допущено смѣщеніе парижской «Религіозно-Философской Академіи» и «Богословскаго Института». Эта оплошность кажется непонятной на фонѣ безукоризненно точной информаціи «Иреникона».

Г. Ф е д о т о въ.

ТРАГИЗМЪ ВОЗВЫШЕННАГО И СПЕКУЛЯЦІЯ НА ПОНИЖЕНІЕ

Въ современной послѣвоенной и пореволюціонной формациі людей всѣхъ націй поражаетъ *низость сердецъ*. Это есть нѣчто худшее чѣмъ *паденіе*. Падшій не достигъ предѣла низости: онъ еще знаетъ, гдѣ верхъ и гдѣ низъ. Но предѣлъ низости утверждаетъ, что никакого верха нѣть, а то, что называется «низкимъ», есть самое настоящее, полезное, цѣнное и непобѣдимое, чему и надлежитъ властвовать въ мірѣ. Современные дѣловые люди, вожди націй, партійцы всѣхъ родовъ, заново дрессируемая молодежь въ различныхъ блузахъ и рубашкахъ — всѣ эти люди поражаютъ иногда своей неспособностью къ правильному этическому сужденію. Потеряна нормальная эмоциональная реакція оцѣнки, то, что Паскаль называлъ «логикой сердца», потеряно духовный слухъ.

Самая яркая форма такого помраченія выразилась въ парламентскомъ заявлениі коммунистовъ, которые доказывали свою непричастность къ уличнымъ убийствамъ тѣмъ, что ихъ доктрина признаетъ лишь *массовый*, а не индивидуальный *терроръ*. Это значитъ: Убийство оправдано тогда, когда оно совершается въ огромныхъ количествахъ и не только оправдано, но поставлено въ заслугу, возведено въ принципъ. Устанавливается странный принципъ пролетарской этики: пролетариатъ можетъ всѣхъ угнетать и убивать, а его — никто!

Объ этихъ нравственно-помраченыхъ, страдающихъ искаженіемъ способности сужденія, сказано: «не вѣдаютъ, что творять». Этими словами Христосъ молился не за тѣхъ, кого легко простить, а за тѣхъ, кого *всего труднѣе простить*: молился за распинателей, совершившихъ предѣльное преступленіе, когда-либо существовавшее на землѣ. Гораздо лучше тѣ, которые «вѣдаютъ, что творять», тѣ обыкновенные разбойники, которые знаютъ, что такое добро и гдѣ добро, но выбираютъ зло по слабости, по страсти, по корысти. Снова встаетъ проблема Сократа:

не есть ли добродѣтель прежде всего знаніе? Конечно особое знаніе, знаніе добра и зла, способность безупречно оцѣнивать. Она не есть что-то само-собою разумѣющееся. Существовали вѣка, когда человѣкъ твердо зналъ, что такое добро, хотя и не имѣлъ силы его дѣлать! Таково классическое средневѣковье. Но существуютъ иные времена, когда это высшее знаніе сердца теряется — такова современность.

Исцѣленіе этой слѣпоты и глухоты можетъ быть найдено только въ христіанствѣ, ибо оно даетъ великое расширеніе и углубленіе этическаго сужденія. Русская мысль и русская литература много дала въ смыслѣ такого углубленія. Достоевскій и Толстой — это углубленная логика и діалектика сердца. Главная ихъ проблема — это проблема принятія преступленія во имя прогрессивныхъ, разумныхъ, соціальныхъ цѣлей. Есть нѣчто пророческое въ этой постановкѣ вопроса, въ томъ, что Толстой предвидѣть, что не преступленія индивидуальныхъ злодѣевъ страшны для человѣчества, а преступленія коллективовъ и государствъ, соціально-оправданныя преступленія; въ томъ, что Достоевскій предвидѣть, какъ на слезахъ замученныхъ будутъ строить и оправдывать «достиженія прогресса».

Странными кажутся иные сужденія о совѣтской Россіи, исходящія отъ лицъ, признающихъ принципъ христіанской культуры, читающихъ біблію. Они говорятъ: есть большія техническія достижения, но къ сожалѣнію нѣть свободы и личность подавлена. Но вся біблія есть сплошное изобличеніе такого строительства, которое построено на грѣхѣ и преступленіи, на отрицаніи цѣнности личности и угнетеніи.

Свою изначальную и неумолимую противоположность христіанству марксизмъ прекрасно сознаетъ и постоянно подчеркиваетъ (онъ говоритъ: христіанство строить на любви, мы строимъ на ненависти!), ради нея онъ сохраняетъ понятіе материализма, философски уже совершенно вывѣтритившееся и почти ничего не означающее. Оно означаетъ однако еще противоположность духовности, противоположность христіанству. Если Богъ есть духъ, то оно означаетъ вражду къ Богу и вражду къ духу.

Нужно философски понять сущность материализма и духовности. Это двѣ установки сознанія. Дѣло идетъ вовсе не о старомъ материализмѣ и спиритуализмѣ, который хочетъ открыть субстанцію всѣхъ вещей и спорить о томъ, состоить ли міръ изъ материальныхъ атомовъ, или изъ духовныхъ монадъ! Современный материализмъ есть установка сознанія, методъ дѣйствія и методъ пониманія, т о d u s v i v e n d i , возведенный въ принципъ. Марксъ возвелъ въ принципъ ту установку сознанія, которая въ 19 вѣкѣ стала всѣми молчаливо признаваться, хотя на словахъ лицемѣрно отрицалась. Всякій буржуа

практически былъ «экономическимъ материалистомъ» и еще продолжаетъ имъ оставаться. Эта бытовой материализмъ тоже есть особая религія и притомъ низшая религія, существовавшая во все времена. О ней сказано: «ихъ богъ — чрево!» Марксъ обличаетъ буржуазію не за то, что она цѣнить «экономической фундаментъ» и крѣпко вѣрить въ него, — онъ самъ вѣрить только въ это — а за то, что она лицемѣрить и проповѣдувать «духъ» и «духовность» для успокоенія души. Довольно ханжества, говорить Марксъ, скажемъ то, что всѣ давно думали: *все построено на экономическомъ фундаментѣ*, на удовлетвореніи потребностей и на интересахъ, точь въ точь такъ, какъ учили классические буржуазные экономисты. Важно только, чтобы «экономический фундаментъ» не былъ исключительно занять капиталистами, важно, чтобы на немъ устроился *пролетаріатъ*. Или можетъ быть пролетаріатъ не материалистичень? Можетъ быть онъ вѣрить во что-то другое, кроме потребностей и интересовъ? Такого пролетаріата Марксъ не видѣлъ и не допускалъ. Де-Манъ свидѣтельствуетъ намъ, что всякий современный пролетарій мечтаетъ только объ одномъ: объ удовлетвореніи буржуазныхъ потребностей. Онъ хочетъ жить такъ, какъ живеть буржуазія. Это мѣщанскій идеалъ. Заговорить объ *одухотвореніи пролетаріата* — значитъ отказатьться отъ марксизма и перейти къ религіи.

Марксизмъ есть *апофеозъ буржуазности и мѣщанства*, ибо онъ распространяетъ мѣщанство и буржуазность на все и на всѣхъ, дѣлаетъ мѣщанство коллективнымъ, интернаціональнымъ. Настоящая противоположность буржуазности и мѣщанства есть *духовность*, а вовсе не коллективизмъ и не коммунизмъ. Возможенъ *духовный коммунизмъ* и такимъ былъ коммунизмъ первохристіанской общинѣ, коммунизмъ любви, подвига и жертвы; онъ конечно былъ чуждъ всякаго мѣщанства, всякаго «экономического материализма». «Экономический материализмъ» есть угашеніе духа прежде всего; христіанство напротивъ говоритъ: духа не угашайте!

Философію Маркса можно назвать *спекуляціей на понижение*. И это не простая иронія, а философская характеристика ея сущности.

Подлинная философія развертываетъ систему категорій бытія, систему ступеней бытія. Причемъ каждая ступень раскрываетъ новое качество бытія. Упрощая и схематизируя, мы можемъ намѣтить такія ступени:

1. Категоріи физико-химического бытія (матеріально-пространственные процессы).
2. Категорія органического бытія (растительно-животные процессы).
3. Категоріи бытія психического (сознаніе и подсознаніе).

Это царство природы; надъ нимъ возвышается царство духа, или свободы. Духъ и свобода одно:

4. Категоріи бытія духовного, тоже им'ющаго нѣсколько ступеней: наука, техника, экономика, право, мораль, искусство религія.

Царство духа и свободы вводить насъ въ сферу творческихъ цѣнностей: техника, хозяйство, наука, искусство — суть цѣнности; нѣть творчества безъ оцѣнки. Вся эта лѣстница ступеней можетъ быть оцѣниваема; при чемъ здѣсь мы получаемъ соотношеніе высшихъ и низшихъ цѣнностей, высшихъ и низшихъ ступеней бытія: организмъ богаче и сложнѣе, чѣмъ простой механизмъ — и потому цѣннѣе; психическое бытіе богаче и цѣннѣе чѣмъ только физическое; духовное богаче и цѣннѣе психического.

Разсматривая эту іерархію ступеней, нетрудно замѣтить одинъ удивительный законъ ихъ соотношенія; онъ былъ формулированъ еще Аристотелемъ а затѣмъ Гегелемъ: Всякая высшая ступень бытія и цѣнности предполагаетъ и содержить въ себѣ низшую, какъ условіе своей возможности: органическая жизнь предполагаетъ и содержить въ себѣ всѣ процессы механическіе и химическіе; психическая жизнь предполагаетъ и содержить въ себѣ процессы органической жизни. Духовная жизнь предполагаетъ и содержить въ себѣ всѣ психические процессы подсознанія и сознанія. Въ этомъ смыслѣ человѣкъ во всей полнотѣ своей есть механизмъ, химизмъ (обмѣнъ веществъ), организмъ; есть неодушевленное растеніе, одушевленное животное, и наконецъ творчески-свободный духъ. Аристотель выражаетъ этотъ законъ соотношенія ступеней въ понятіяхъ формы и матеріи: всякая низшая ступень бытія есть матерія для высшей, которая есть ея новая форма; такъ, организмъ есть особая форма физико-химическихъ процессовъ; душа есть особая форма органической жизни. Духъ и свобода — особая форма психическихъ процессовъ. Ясно, что всякая новая и высшая форма предполагаетъ и содержитъ въ себѣ предшествующую и низшую, какъ свою матерію. Она формируетъ ее по новому.

Такое соотношеніе формы и матеріи ясно показываетъ, какъ возможенъ материализмъ, и въ чемъ его ошибка. Матеріализмомъ будетъ сведеніе (редукція) всякой высшей формы къ ея низшей матеріи. Матеріализмомъ будетъ сказать, что органическая жизнь сводится къ физико-химическимъ процессамъ, что человѣкъ есть въ сущности только животное, что сознаніе есть только нервный токъ; матеріализмомъ будетъ сказать, что статуя есть только мраморъ, что музыка есть только звуковая волна; но точно такъ-же матеріализмомъ будетъ сказать, что культура есть только особая форма хозяйства («экономический материализмъ») или сказать, что духъ есть только особая форма основной сек-

суальної психіческої енергії, якъ это дѣлаеть Фрейдъ (*). Это сведеніе высшихъ формъ на низшія можетъ остановиться на любой ступени: разные материалисты имѣютъ свою разную «матерію»: для Тимирязева «матеріей» являются физико-химические процессы; для Маркса «матеріей» является хозяйство (производство и распределеніе), для Фрейда «матеріей» является libido—въ сущности вовсе не материально-пространственный объекъ

Что же общаго у всѣхъ этихъ видовъ материализма? Ясно, что ихъ «матеріи» ничего общаго не имѣютъ между собою. Но общимъ остается *методъ сведенія высшихъ формъ бытія на низшія*: его мы и назвали *спекуляціей на пониженіе*.

Фундаментальную ошибку этого метода, идущую черезъ всю науку, черезъ всю философію, черезъ всю психику человѣка, на протяженіи вѣковъ, можно выразить въ слѣдующихъ утвержденіяхъ: «культура есть только хозяйство», «духъ есть только libido», «человѣкъ есть только животный организмъ», «организмъ есть только механизмъ» — и въ этомъ заключается вся неправда! Именно: *не только, но и!* Движеніе по ступенямъ внизъ не объясняетъ ничего, необходимо движеніе по ступенямъ вверхъ. Но какъ только мы скажемъ: *не только, но и*, такъ тотчасъ-же мы пробѣжимъ іерархію ступеней вверхъ: «не только мраморъ, но и форма красоты», «не только звуковая волна, но и гармонія», «не только природа, но и свобода», «не только процессы сознанія но и творческій духъ»; наконецъ: *не только относительное, но и абсолютное*. Вотъ это восхожденіе непріемлемо для марксизма, ибо оно приводить къ Абсолютному Духу, возводить къ абсолютной вершинѣ, къ «Всевышнему».

Остается обратный путь *спекуляціи на пониженіе*: всегда говорить «только» (nur), всегда сводить каждую форму на низшую матерію, но тогда уже не останавливаться и идти внизъ до первоматеріи, какъ это дѣлаеть атомистической материализмъ. Совѣтская философія не можетъ рѣшиться ни на то, ни на другое; она останавливается на «матеріи» Маркса, на хозяйственномъ процессѣ. Сказать, что это «только механика атомовъ» — значитъ потерять революціонный порывъ, прометеевскій духъ, титанизмъ; значитъ погрузиться въ механическій фатализмъ. Сказать: «не только механика атомовъ, но творческое изобрѣтеніе, но прометеевскій духъ, (всякое орудіе производства есть изобрѣтеніе, духовный актъ Прометея), — значитъ открыть категоріи свободы и духа, т. е. порвать съ материализмомъ и съ игрой на пониженіе. Совѣтской философіи не хватаетъ *діалектики*, не

*) На эту аналогію справедливо указалъ С. Франкъ. «Психоанализъ, какъ міросозерцаніе». Путь № 25.

хватаеть смѣлости договорить и домыслить до конца (*). Ибо діалектика и есть искусство мыслить до конца:

«Мудрецъ отличенъ отъ глупца
Тѣмъ, что онъ мыслить до конца»

Спекуляція на понижение діалектически требуетъ дойти до *первоматерії*. Бюхнеру и Малешоту могло казаться, что это очень просто и ясно. Еще Тимирязевъ могъ думать, что мы обрѣтемъ твердый фундаментъ материализма въ атомистической механикѣ и химіи. Но теперь такого фундамента въ наукѣ не существуетъ. *Первоматерія* стала совсѣмъ проблематичной и грозить обратиться въ ничто. Детерминизмъ и «желѣзная причинность» пошатнулись. Лейбніціанство можетъ почти торжествовать побѣду: кванты точь въ точь похожи на монады!

Въ такомъ странномъ положеніи находится сейчасъ совѣтскій марксизмъ. Означаетъ-ли вообще что нибудь его «матеріализмъ»? Его матерія не означаетъ никакой матеріи и онъ никогда не рѣщается спросить, что такое матерія. Но его «матеріализмъ» означаетъ методъ спекуляціи на понижение. На этомъ онъ стоитъ твердо. Выраженіе «спекуляція на понижение» содержитъ въ себѣ забавную двусмысленность: оно означаетъ методъ объясненія, философскую спекуляцію понятіями, — а вмѣстѣ съ тѣмъ означаетъ методъ дѣйствія, особую спекуляцію цѣнностями, «игру на понижение» въ смыслѣ ставки на низшія цѣнности. Матеріализмъ имѣть теоретическое и практическое значение.

Дѣло въ томъ, что сведеніе всего къ какой-либо низшей матеріи, которая тогда дѣлается послѣднимъ основаніемъ и фундаментомъ всего — какъ у Маркса экономической фундаментъ — есть съ одной стороны признаніе этого фундамента, какъ существенной реальности, но съ другой стороны, признаніе его, какъ главной цѣнности; иначе говоря, какъ точки опоры въ теоретическомъ и практическомъ смыслѣ. Если хозяйство есть самое существенное въ соціальной жизни, то оно и *самое цѣнное* въ соціальной жизни. Въ этомъ смыслѣ экономической матеріализмъ есть сужденіе оцѣнки, изъ которого вытекаетъ практическое поведеніе. То-же можно сказать о всякой другой спекуляціи на понижение: если человѣкъ есть въ сущности «только животное», то простая животная жизнь есть самое цѣнное; если сущность психической энергіи есть сексуальность (*libido*), то сексуальность есть самое цѣнное и т. д. Во всѣхъ случаяхъ существуетъ постулатъ признанія истинной реальности за истинную цѣнность. Теоретическая философская «спекуляція» превращается въ

* См. обѣ этомъ интереснѣйшую статью Н. Бердяева «Генеральная линія въ совѣтской философіи», «Путь» № 34. Приложеніе.

практическую норму поведенія, въ ставку на низшія цѣнності, на крѣпость экономического фундамента.

Спекуляція на пониженіе есть 1) извращеніе закона соотношенія категорій, который гласить: высшая категорія есть самостоятельное и новое качество бытія, несводимое къ низшему; она есть 2) извращеніе закона іерархіи цѣнностей, который гласить: низшую цѣнность нельзя предпочтать высшей. Но какъ разъ низшія цѣнности особенно для всѣхъ убѣдительны и популярны; въ признаніи преимущественной цѣнности «экономического фундамента» Чичиковъ вполнѣ согласился-бы съ Марксомъ и французской буржуа съ русскимъ коммунистомъ.

Замѣчательно то, что игра на пониженіе въ теоріи и практикѣ всегда будетъ наиболѣе популярна. Въ этой популярности общедоступность всяческаго материализма и марксизма. Опусканіе всегда легче возвышенія — это законъ косности человѣческой природы, линія наименьшаго сопротивленія.

Съ какимъ восторгомъ человѣкъ узнаетъ, что онъ произошелъ отъ обезьяны, что онъ только животное, только матерія, что святая любовь есть только сексуальность и т. д. Повидимому всякое «только» доставляетъ глубокое облегченіе, тогда какъ всякое «не только» тревожить, побуждаетъ къ усилію. Съ какимъ увлеченіемъ и съ какой виртуозностью люди раскрываютъ всяческую «подноготную», обнаруживая всюду корысть и похоть. Для лакея нѣтъ великаго человѣка и для хама всякий выше стоящій есть «деспотъ, пирующей въ роскошномъ дворцѣ». Въ чёмъ паѳосъ этой странной жажды пониженія (*), этого движенія *au rebour?* Это паѳосъ профанаціи, который противоположенъ паѳосу сублимациіи, паѳосу возвышенного.

Паѳосъ профанаціи живеть и дышеть Мефистофель и Петръ Верховенскій (одинъ изъ «Бѣсовъ»). Но ту-же установку мы встрѣчаемъ у Маркса и Фрейда. То, что объединяетъ ихъ всѣхъ — это убѣжденіе, что все святое и возвыщенное есть только иллюзія (ср. заглавіе Фрейда «Die Zukunft einer Illusion»).

Въ этомъ принципіально философскомъ смыслѣ, а не только разговорномъ, паѳосъ Маркса и Фрейда есть паѳосъ профанаціи. Отсюда — эстетическая и этическая отвратность марксизма, отсюда — абсолютная неудача всякаго марксистскаго искусства, отсюда — хамскій стиль прессы («кулацкіе и лѣвацкіе загибы и перегибы», «генеральная линія», «женофикація»); искусство и этика есть сублимациія, а марксизмъ есть профанація. Сущность профанаціи состоитъ въ сведеніи всего на низшіе мотивы: религія есть страхъ и корысть жрецовъ; любовь есть сек-

*.) Ср. у Достоевскаго въ Бѣсахъ: «сроемъ высокія горы» всякий гений потушимъ въ младенчество».

суальность «безъ черемухи». Въ результата — нѣть ничего святого, и отсюда — послѣдній шагъ: принятіе преступленія. Напротивъ, сущность сублимациі есть переходъ къ высшимъ формамъ и ступенямъ бытія, чувство возвышенного, благоговѣніе. Сублимациі предполагаетъ высоту и совершенство, предполагаетъ «Всевышняго». Этимъ объясняется вражда къ Всевышнему и отвращеніе ко всякому благоговѣнію въ марксизмѣ и во всякой спекуляціи на пониженіе.

Намъ могутъ однако возразить, что хотя профанація и отвратительна, но обличеніе имѣть цѣнность и даже свое величие. Не есть-ли паѳосъ Маркса и марксизма прежде всего паѳосъ обличенія? Не обличалъ-ли Марксъ непрерывно грѣхи буржуазіи?

Возраженіе законное и діалектически-необходимое. Обличеніе необходимо отличать отъ профанаціи. Обличеніе есть дѣло пророковъ, и оно возможно лишь предъ лицемъ Божіимъ, возможно лишь для того, кто повернулся лицемъ къ Богу. Профанація есть дѣло Мефистофеля и она возможна для того, кто повернулся спиной къ Богу, кому противно небо («оставимъ небо воробьямъ и попамъ»).

Обличеніе имѣть своею цѣлью вернуть человѣка къ Богу. Профанація имѣть своею цѣлью отвратить человѣка отъ Бога. Смѣшно было-бы думать, что Мефистофель хотѣлъ «обличать» Фауста. Это совсѣмъ не его роль. Пророческій паѳосъ смѣшонъ для Мефистофеля, также, какъ онъ смѣшонъ для Маркса. Пророкъ безъ Бога, или пророкъ, отрекшійся отъ своего Бога — жалокъ и смѣшонъ.

Обличеніе имѣть своею цѣлью показать ложную сублимацию, ложное возвышеніе, для того, чтобы возвстановить истинную сублимацию, истинное возвышеніе. Но истинная сублимациія возможна только для того, кто знаетъ категорію «возвышенного», «святого», кто знаетъ Всевышняго, кто знаетъ іерархію бытія и іерархію цѣнностей. Истинная сублимациія для Фрейда и Маркса невозможна, ибо для нихъ «возвыщенное и святое» являются иллюзіями. Смѣшно было бы Фрейду обличать своихъ пациентовъ въ сексуальности. Точно такъ-же смѣшно Марксу обличать буржуазію въ буржуазности, ибо это значило бы требовать духовности. Смѣшно обличать ее въ классовомъ эгоизмѣ и въ борьбѣ съ интересами пролетаріата, ибо въ этомъ выражается классовая природа человѣка. Но всего смѣшнѣе обличать въ эксплуатациі! Слово «эксплуатациія» лишено всякаго смысла въ марксизмѣ, равно какъ и въ дарвинизмѣ, и во всякомъ каузально-натуралистическомъ міросозерцаніи. На счетъ «эксплуатациі» каждому марксисту надлежитъ зарубить себѣ на носу слова Спинозы: «Большія государства поглощаютъ малыя по тому-же закону, по какому большія рыбы погло-

щають малыхъ», — по тому-же самому, добавимъ мы, по какому кулаки поглощаютъ бѣдняковъ! Въ такомъ міросозерцаніі не возникаетъ проблемы права и справедливости, нѣтъ мѣста для абсолютной цѣнности личности и для идеи свободы, не существуетъ идеи грѣха. Объ эксплуатациіі имѣли право говорить древне-еврейскіе пророки и Христось, но не Марксъ. Обличительная поза пророка непристойна для того, кто пророчество считаетъ «опіумомъ для народа». Обличать — значить раскрывать «низменное», но «низменное» существуетъ лишь для того, кто чувствуетъ «возвышенное». Кто отрицає возвышенное и святое — для того не существуетъ низменнаго и грѣшнаго. Какъ-же онъ можетъ кого-либо обличать?

Спиноза понималъ, что натуризмъ и детерминизмъ не даютъ права «ни оплакивать, ни осмѣивать». Марксъ никогда не могъ этого понять. Въ силу полной неспособности осознать свои философскія предпосылки, онъ даже не видитъ диллеммы: или право оцѣнивать и обличать — или міросозерцаніе марксизма! одно исключаетъ другое. Марксъ оцѣниваетъ на каждомъ шагу «оплакиваетъ и осмѣиваетъ», но, не понимая, что такое оцѣнка и не зная іерархіи цѣнностей, онъ оцѣниваетъ ложно.

Цѣнности, безсознательно, признаются и здѣсь, но это цѣнности величины, а не величія, цѣнности высокаго (небоскреба), а не возвышенного, цѣнности нагло-сильнаго, а не благороднаго. Мы получаемъ религію власти, силы, земли, чрева, князя міра сего, звѣря. Библейскіе символы, начиная съ Вавилонской башни, Навуходоносора, и кончая апокалиптическимъ звѣремъ, совершенно точно выражаютъ такую установку сознанія. *Идеаль деспотически-организованнаго, универсально властевующаго коллектива есть современное выражение такой установки.* Можетъ показаться, что здѣсь тоже есть нѣкоторая своеобразная сублимация, но это иллюзія: здѣсь нѣтъ перехода къ высшимъ духовнымъ ступенямъ бытія, а есть только наростаніе и увеличеніе той-же самой низшей ступени, есть самовозвеличеніе и самораздуваніе («свою собственной рукой»), дающее не подлинное величіе, а только величину.

На противоположной точкѣ зрѣнія стоить христіанство. Оно утверждаетъ цѣнность возвышеннаго, а не высокаго, свято-го, а не сильнаго; цѣнность величія, а не величины (царство не отъ міра сего, сила, которая въ немоци совершается, зракъ раба, крестъ). Легко замѣтить, что такая точка зрѣнія гораздо труднѣе для человѣка, чѣмъ противоположная ей ставка на силу и величину. Сублимация нелегка, она требуетъ риска, жертвы, подвига. Низшія цѣнности хозяйства и власти кажутся куда болѣе крѣпкими и надежными, тогда какъ героизмъ и святость кажутся рискованными и эфемерными, постоянно идущими на встречу смерти и разрушенню.

Нѣкоторая естественная косиность человѣка, постоянное стремлѣніе «опускаться», постоянное предпочтеніе, оказываемое низшимъ цѣнностямъ мамоны, имѣютъ глубокое основаніе въ особомъ законѣ соотношенія категорій бытія и ступеней цѣнностей. Законъ этотъ со всей философской строгостью и неумолимостью формулированъ Н. Гартманомъ въ его «Категоріальныx законахъ». Онъ гласить слѣдующее: *высота категоріи обратно пропорциональна ея силѣ*. Высшія формы бытія суть наиболѣе сложные, обусловленные, зависимы и потому наиболѣе слабы и хрупкія; тогда какъ низшія формы наименѣе обусловлены и потому наиболѣе безусловны и крѣпки. Жизнь человѣка на землѣ требуетъ безконечно сложной суммы условій въ космическомъ смыслѣ: особой температуры солнца, особой конструкціи земли, наличности воды и воздуха, иначе говоря — сложнѣйшей суммы условій, представляющихъ, какъ думаютъ нѣкоторые астрономы, рѣдчайшее, а можетъ быть и единственное исключеніе во вселенной. Если хоть одно изъ этихъ условій пошатнется, то немедленно рухнуть всѣ высшія ступени и формы жизни: прекратится культура, исчезнетъ человѣкъ, исчезнетъ органическая жизнь; однако камни и скалы на землѣ, какъ на лунѣ, еще останутся, ибо они гораздо прочнѣе, требуютъ гораздо меньшаго количества условій для своего существованія. Что же касается механики атомовъ и химическихъ процессовъ, то она вообще останется незыблемой при всякой міровой катастрофѣ, при всякой гибели земли, ибо низшая ступень физико-химического бытія есть самая прочная ступень. Другой примѣръ: человѣкъ умираетъ и превращается въ трупъ, который разлагается; исчезаютъ высшія формы психической и органической жизни, но физико-химические процессы, происходящіе въ трупѣ, сохраняются незыблемыми. Они индифферентны къ жизни и смерти. Имъ ничего не страшно, они продолжаютъ свое ненарушимое дѣйствіе. Скелетъ безконечно болѣе проченъ, въ своей ужасающей простотѣ, чѣмъ хрупкій и геніально построенный живой организмъ. Бытіе пирамиды крѣпче и сильнѣе, нежели жизнь фараона. Это очень грустный законъ, нѣчто вродѣ всеобщей энтропіи. Если серьезно вдуматься въ него, то намъ откроется законъ *всеобщаго трагизма бытія*, которому грозить всеобщее сниженіе, обратное паденіе къ самымъ низшимъ ступенямъ, къ первобытной туманности. Надо спасать полноту высшихъ ступеней жизни, ихъ блестящій расцвѣтъ, а для этого нужно чудо, нуженъ Спаситель!

Здѣсь открывается поразительное прозрѣніе космического трагизма, хорошо известное великимъ религіямъ человѣчества, какъ индуизму, такъ и христіанству. *Все возвышенное, благородное, драгоценное — есть, вмѣсть съ тѣмъ, самое хрупкое, и уязвимое.* Человѣкъ болѣе уязвимъ, нежели растеніе; растеніе

— болѣе уязвимо, нежели камень; благородное растеніе, какъ роза и виноградъ, гораздо менѣе живуче, чѣмъ бурьянъ и плющъ; низшія и смертносныя бактеріи обладаютъ невѣроятной устойчивостью и силой сопротивленія. Какъ разъ самое высшее можетъ страдать и умирать, а не самое низшее. Притомъ, Сократа легче убить, нежели Сиракузскаго тирана, Христа легче убить, нежели Пилата, а потому не поклониться-ли префекту и тирану, которыхъ нельзя убить и которые сами могутъ всѣхъ убить? Такъ всегда разсуждаетъ толпа, ей всегда импонируетъ фактъ силы, власти, величины. Она всегда дѣлаетъ ставку на низшее, но болѣе крѣпкое. На этомъ построено уваженіе ко всяческой диктатурѣ и прежде всего — къ диктатурѣ пролетаріата: устроить пролетаріатъ такъ, чтобы его никто не могъ обидѣть, а онъ самъ могъ всякаго обидѣть! На этомъ же построено и уваженіе къ домовладыкъ въ комедіи Островскаго: «Кто тебя, батюшка, обидитъ? Ты самъ всякаго обидиши».

Исторія героевъ, мучениковъ, пророковъ и святыхъ есть великое подтвержденіе закона трагизма, закона слабости и хрупкости высшихъ формъ жизни. Но вотъ что особенно удивительно: какъ разъ, когда онъ гибнутъ, онъ выше всего. Таково свойство возвышенного — оно легко гибнетъ, оно не защищается, даже какъ бы ищетъ гибели, жертвуя собой. Притомъ, если бы этой гибели не было, то и жертвы бы не было, не было бы поэту и величія и святости. Такъ что въ самой слабости высшихъ ступеней какъ бы удостовѣрена ихъ подлинная *высота*.

Нужно извѣстное величіе души, чтобы понять красоту риска, жертвы, гибели. Только для благороднаго человѣка рискъ есть «благородное дѣло». Одни это понимаютъ сразу, другіе — никогда. Таковъ вѣчный и всемирный Чичиковъ. Для него прочность низшихъ формъ бытія всегда цѣннѣе земерности и хрупкости высшихъ, синица въ руки всегда цѣннѣе журавля въ небѣ. Онъ всегда отклонить героизмъ тѣмъ неотразимымъ доводомъ, какой примѣнилъ анекдотическій солдатъ: «Лучше полчаса быть трусомъ, чѣмъ потомъ всю жизнь быть покойникомъ». Огромное большинство всегда признаетъ безопасность, силу, власть и богатство надежнѣе и цѣннѣе святости, героизма, красоты и величія. Но если власть и богатство соединены съ преступленіемъ? Здѣсь уже начинаются колебанія: не такъ легко принять преступленіе. Но колебанія не долгія: преступленія удавшіяся, и въ особенности преступленія коллективныя, легко забываются: побѣдителей не судятъ, и горе побѣжденнымъ! Нѣтъ болѣе безнравственной и противо - христіанской поговорки.

Но именно это изреченіе — «побѣдителей не судятъ», это невольное преклоненіе передъ фактъмъ и силой и величиной — лежитъ въ основѣ всѣхъ большевизанствующихъ сужденій, ко-

торыя пріемлемы для какой угодно морали, но только не для христианской. Говорять: да, нѣть свободы, но есть большое строительство. Это значитъ: угашается духъ, но процвѣтаетъ матерія; убивается личность, но живеть машина. Можно ли сомнѣваться въ оцѣнкѣ такого быта съ христіанской точки зренія? «Побѣдителей не судятъ» — вотъ классическое искаженіе нравственного сужденія.

Этотъ странный законъ, что все самое высшее, самое благородное есть самое хрупкое и разрушимое — выражаетъ трагизмъ бытія. Онъ встрѣчаетъ нась на каждомъ шагу въ обыденной жизни. Вотъ я слушаю часы моего дѣда, и меня изумляетъ точный ритмъ ихъ стального сердца. Онъ звучить и будетъ звучать, когда живыя сердца владѣльцевъ давно умолкли и умолкнутъ. Есть глубокій трагизмъ въ одаждѣ, принадлежавшей умершимъ близкимъ: странно бессмертие этихъ незначительныхъ тряпокъ въ сравненіи съ бренностью и смертью существъ, полныхъ безконечнаго значенія. Но судьба всякаго трагизма и всякаго страданія таинственнымъ образомъ сближаетъ нась съ трагизмомъ Голгоѳы, и это потому, что крестъ и Голгоѳа есть наиболѣе полное выраженіе сущности и глубины трагизма. Въ судьбѣ каждого, поскольку она приближается къ подлинному трагизму, есть удивительное сходство съ судбою Христа: начиная съ этихъ оставшихся одеждъ, о которыхъ чужие люди «мечутъ жребій», и кончая измѣною ученика, издѣвателствомъ толпы и «богооставленностью» въ моментъ наивысшаго подвига. Кто совершенно не знаетъ трагизма, тому Христосъ ничего не говорить.

Есть трагизмъ въ каждой «слезѣ человѣческой», но вершина и предѣлъ трагизма лежить не въ болѣзни, смерти и страданіи (какъ думалъ Будда), а въ торжествѣ зла и униженіи добра. Самое божественное подвергается оплеванію. Самое возвышенное (самъ «Всевышній») обрекается на самую низкую участъ. Богочеловѣкъ распинается. Вотъ подлинный трагизмъ. Если въ этомъ послѣднее и вѣчное слово безмысленной «необходимости», (*ἀνάγκη*) тогда всему конецъ, тогда не стоитъ жить, стремиться и дѣйствовать, тогда нельзя принять міра, какъ думалъ Достоевскій, тогда нельзя принять Бога, какъ думалъ Іовъ.

Если-бы это было такъ, то всякий трагизмъ (а въ сущности и комизмъ) убивалъ-бы душу. Но трагизмъ не убиваетъ, а очищаетъ (*καθαρισμός*) и возвышаетъ, даже восхищаетъ. Въ этомъ чудо трагизма: какъ можетъ трагедія, т. е. гибель и смерть, восхищать и быть прекрасной? Зачѣмъ идуть въ театръ проливать слезы? Странная діалектика трагизма состоитъ въ томъ, что гибель героевъ и мучениковъ она превращаетъ въ побѣду, что конецъ она превращаетъ въ начало чего-то иного, — что въ «безвыходности» она предчувствуетъ выходъ. Выходъ, трансъ — есть великолѣдѣствіе трагизма. Трагизмъ какъ-бы вырывается

изъ жизни, изъ плоскости быта и ежедневности. Въ этомъ есть скрытая радость и упоеніе:

Все, все, что гибелю грозить
Для сердца смертнаго таитъ
Неизъяснимы наслажденья,
Бесмертья можесть быть залогъ.

Радость состоить въ томъ, что въ трагизмѣ (а равно и въ юморѣ) духъ, т. е. подлинное глубинное я, впервые переживаетъ и осознаетъ свое царственное достоинство, свою абсолютную свободу отъ всѣхъ низшихъ ступеней бытія, отъ всякой природы и отъ всякой необходимости. Но это особое достоинство и особая свобода: она принадлежитъ только тому, кто готовъ пройти черезъ трагизмъ, кто имѣеть абсолютное мужество не дрожать за жизнь. Кто не боится «угрозы гибелю» — тому дань «залогъ безсмертия». А кто «душу (жизнь) свою сохранияетъ, тотъ погубить ее». Въ «Назначеніи человѣка» Фихте такъ выражалъ эту свободу духа, возвышающагося надъ всѣми категориями природы. Онъ обращается къ природной необходимости: ты можешь уничтожить мое тѣло, бросить на меня высокія горы, стереть меня съ лица земли, но ты ничего не можешь сдѣлать съ моей свободной волей, съ моимъ свободнымъ «да» или «нѣть», которое продолжаетъ навѣки звучать въ самой моей гибели! Вотъ прометеевское сознаніе духа въ трагизмѣ. Но оно дается только тому, кто раздѣляетъ судьбу страдающаго Бога.

Духъ открываетъ здѣсь вѣчное идеальное царство смысловъ, къ которому принадлежитъ онъ самъ и его идеальная оцѣнки и утвержденія. Пусть гибнетъ Ромео и Джульетта, но вѣчный смыслъ ихъ любви и вѣчная гармонія ихъ индивидуальностей пребываетъ неизмѣнно, несмотря, или вѣрнѣ — благодаря ихъ гибели. Пусть умираетъ Сократъ, но вѣчный смыслъ его мудрости и вѣчная тема его судьбы именно и увѣковѣчены его смертью. Сила ихъ всѣхъ состояла въ томъ, что въ «угрозѣ гибелю» они нашли «залогъ безсмертия», въ томъ, что свое «да» и «нѣть» они сказали разъ *насегда*: «да» — своей любви и своимъ святынямъ; «нѣть» — всѣмъ силамъ и противодѣйствіямъ міра и людей. Таково безсмертие героевъ, мучениковъ и святыхъ. Оно состоить въ вѣчномъ значеніи ихъ смысла, въ постоянной побѣдѣ ихъ идеала. Само христіанство есть мощный исторический аргументъ, доказывающій, что пораженіе (крестъ) можетъ означать побѣду («сімъ побѣдишь»).

Какъ ни величественна такая идеальная сила духа, такое преодолѣніе трагизма черезъ безсмертие, однако она не составляетъ послѣдняго слова христіанства. Вѣдь оно было-бы въ концѣ-концовъ безсмертиемъ вѣчной памяти, только идеальнымъ сохраненіемъ и спасеніемъ всего цѣнного въ иномъ планѣ бытія,

«на томъ свѣтѣ», въ царствѣ идей Платона, въ «умномъ мѣстѣ» Плотина. «Этотъ свѣтъ» оставался бы предоставленнымъ смерти и разрушенію, непреображенными и неспасенными. Царство Божіе оставалось бы на небеси, но не на земли. Для христіанства такая «идеальная» побѣда недостаточна: она есть развоплощеніе Логоса и противорѣчить идеѣ воплощенія и Воскресенія. Идеальное торжество, которое переживается въ трагизмѣ, должно превратиться въ реальное торжество. Смерть, гибель, страданіе, крестъ — не есть послѣднее слово для христіанства. Идеальная побѣда мученика и святого и «вѣчная память» о немъ — тоже не послѣднее слово. Только реальное Воскресеніе Христово и реальное преображеніе (обоженіе) всего міра есть послѣднее слово. Это значитъ: то, что заслуживаетъ жизни — будетъ жить; то, чому нельзя умереть — не умретъ.

Иначе не можетъ утверждать *религія абсолютно желаннаго*, религія, обѣщающая исполненіе всѣхъ завѣтныхъ упований человѣка, обѣщающая, что «отрется всякая слеза человѣческая». Можно восхищаться величиемъ мученика и святого, можно молиться на него, но нельзя желать, чтобы мучениковъ всегда мучили и Богочеловѣка всегда распинали. Нельзя устраниТЬ изъ человѣческаго сердца желанія полной и мощной побѣды высшихъ цѣнностей и святынь, ихъ воплощенія на землѣ и во всемъ космосѣ («Да приидетъ Царствіе Твое»). Мы вѣримъ въ конечную побѣду добра и внутреннее саморазрушение зла и не вѣрить не можемъ. Въ этой вѣрѣ нѣтъ ничего произвольнаго: атеисты также вѣрятъ въ реализацію своего идеала, какъ и «вѣрующіе», только они дѣлаютъ ставку на низшее, чтобы было надежнѣе и прочнѣе. Тотъ, кто дѣлаетъ ставку на высшее, долженъ обладать мужествомъ риска, но отказаться отъ вѣры въ побѣду онъ тоже не можетъ. Полное невѣріе дѣлаетъ невозможнымъ какое-либо дѣйствіе. Полная неисполнимость желаній должна обосновывать иную религію: не религію абсолютно желаннаго (христіанство), а религію абсолютнаго отказа отъ всѣхъ желаній (буддизмъ).

Всякое творчество духовно и есть вѣра въ побѣду духа, въ покореніе низшихъ категорій высшими, въ покореніе природы черезъ свободу. Если бы существовалъ только одинъ законъ слабости всего высшаго, то все высшее давно разрушилось бы и даже, собственно, вовсе не могло бы явиться. Если-бы существовалъ только законъ энтропіи, какъ законъ всеобщаго охлажденія и космического уравненія температуры, то жизнь просто была бы невозможна. Ибо жизнь построена на прямо противоположномъ законѣ: на согрѣваніи, въ противоположность охлажденію, на созданіи контрастовъ, въ противоположность всеобщему уравненію температуры. И духовная жизнь построена на прямо противоположномъ законѣ: не на пониженіи, а

на сублимациі, на возможности крѣпости, силы и побѣды возвышенного и святого, на возможности пришествія Царствія Божія. Если бы святость и крѣпость были навѣки и принципіально разобщены, то жизнь духа, то-есть сублимациія, творчество, воплощеніе, были бы принципіально невозможны. Святость и крѣпость на каждомъ шагу разобщены въ жизни и въ исторіи, въ этомъ ея трагизмъ, но въ концѣ концовъ онъ единъ и будуть объединены. Въ этомъ существо вѣры, ибо Богъ есть Святый Крѣпкій, Святый Безсмертный. Богъ и есть то, что существуетъ «въ концѣ концовъ» и что должно быть «въ концѣ концовъ», Альфа и Омега.

Христіанство вѣритъ въ то, что Богъ есть Святый Крѣпкій, а потому побѣда святого и возвышенного въ концѣ концовъ обеспечена, она заложена въ глубочайшей сущности духа. Но только «въ концѣ концовъ», а не на каждомъ шагу и немедленно, не въ любомъ среднемъ пунктѣ жизни и исторіи, между началомъ и концомъ, между Альфой и Омегой. Русскій народъ вѣритъ, что «Богъ правду видить, да не скоро скажеть» — иногда впрочемъ, Онъ говорить ее очень скоро, даже тотчасъ (*alle Schuld rächt sich auf Erden* — думаль Гете), но иногда «небеса молчатъ» до времени... чтобы тѣмъ мощнѣе и ужаснѣе сказать потомъ свое слово: Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ! Часто люди не умѣютъ или не хотятъ услышать сокрушающее слово Божества, звучащее въ исторіи. По настоящему его умѣютъ слышать только пророки, и только они имѣютъ смѣлость его высказать людямъ, за что и побиваются камнями, ибо слово это часто непереносимо для человѣка.

Величие христіанства и древняго еврейства состоить въ томъ, что они поднимаютъ духъ человѣка на вершину этическаго судженія, открывая своеобразную діалектику оцѣнки. Вотъ ихъ два принципа:

Во первыхъ, умѣніе понять и усмотрѣть ничтожное въ томъ, что властвуетъ и торжествуетъ, умѣніе увидѣть отсутствіе величія въ величинѣ (въ колоссальномъ). Такова ветхозавѣтная діалектика пророковъ, уничтожающая цѣнность Вавилонской башни и Навуходоносора. Она была вполнѣ воспринята Христомъ, который, однако устанавливаетъ другой, новый принципъ.

Второй принципъ: умѣніе оцѣнить возвышенное, хотя бы оно было унизженнымъ, умѣніе узнать Царя въ «зракѣ раба», Умѣніе узрѣть Бога въ Томъ, кто «виситъ на древѣ». Это другая діалектика, діалектика Нового Завѣта, но, предполагающая первую. Мѣщанство говорить: «побѣдителей не судятъ», а пророки только и дѣлаютъ, что судятъ побѣдителей. Мѣщанство говорить: «побѣдителей не судятъ», а христіанство утверждаетъ: князь міра сего осужденъ.

Но діалектика Ветхаго и Новаго Завѣта идетъ далѣе: она связываетъ идеальное осужденіе съ реальнымъ разрушеніемъ; идеальное одобрение и освященіе съ реальной побѣдой. Діалектика пророковъ утверждаетъ, что всякое ложное торжество, ложное возвышеніе, надменіе — разрушаются внутренне и необходимо. Діалектика христіанства утверждаетъ, что всякое униженіе возвыщенаго, всякая гибель божественнаго и святого даруютъ побѣду и воскресеніе. Тотъ и другой діалектическій моментъ закрѣпленъ Христомъ: *низложи сильные со престолы и вознеси смиренные!*

Трагизмъ состоять только въ томъ, что въ исторіи, во временномъ, переходномъ, серединномъ планѣ бытія, мы видимъ постоянное разобщеніе, конфліктъ, *антиномію величія и силы, святыни и крѣпости*. И преодолѣвать эту антиномію можетъ только тотъ, кто знаетъ это разъединеніе (какъ зналъ Іовъ и пророки, и Христосъ), не страшится его, и вмѣстѣ съ тѣмъ вѣритъ въ его послѣднее преодолѣніе. Высшій принципъ жизни и творчества антиномиченъ и трагиченъ: знать слабость и хрупкость возвыщенаго и святого и, рискуя его гибелю, искать побѣды и крѣпости. Никогда не искать крѣпости и силы, отказываясь отъ высоты, но, сохраняя всю устремленность къ высшимъ святынямъ и цѣнностямъ, искать ихъ укрѣпленія и усиленія, зная, что всякая неудача въ сублимациі есть удача своего рода, есть героический жестъ, указующій ввысь и предвосхищающій конечное достижениe. Христіанство имѣеть свою діалектику трагической побѣды: «Симъ побѣдишь», «не оживетъ, аще не умретъ», смертію попирается смерть (*negatio negationis*), побѣждаетъ тотъ, кто жертвуєтъ. Антиномія *святыни и крѣпости* рѣщается въ Богѣ, ибо Онъ одинъ есть единство всѣхъ противоположностей, Онъ одинъ есть *Святый Крѣпкій*. Вѣра въ *абсолютную разрѣшимость трагизма* (вѣра въ Параклeta, «Утѣшителя») составляетъ сущность христіанства. Безъ нея невозможна жизнь. Параклеть есть «жизни податель». Но *абсолютная разрѣшимость*, или разрѣшеніе въ Абсолютномъ, можетъ означать *относительную неразрѣшимость*, или отсутствіе рѣшенія въ планѣ относительного временнаго бытія. «Богъ правду видить, да не скоро скажетъ», но Онъ скажетъ ее въ концѣ концовъ.

Б. Вышеславцевъ.